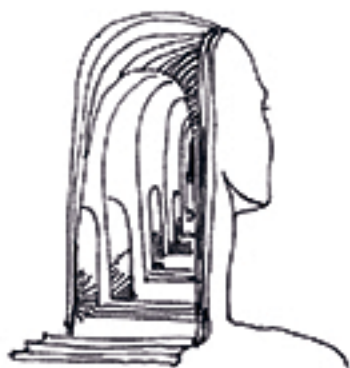


Эдуард Кранк

# ТРИ ПРОЗЫ



**Эдуард Кранк**

**ТРИ ПРОЗЫ**

Чебоксары  
Издательский дом «Среда»  
2020

УДК 821.161.1  
ББК 84(2=411.2)6-46  
К78

**Кранк Э.**

К78 Три прозы / Эдуард Кранк. – Чебоксары :  
ИД «Среда», 2020. – 144 с.

ISBN 978-5-907313-52-1

Книга выдвинута Издательским домом «Среда»  
на литературную премию «НОС»

Как в кинематографе есть «авторское кино», так в литературе есть иная проза – не столько литература в привычном понимании, сколько письмо. Эта книга представляет собой триптих письма. Она проникнута идеей замкнутости человеческих отношений с миром, как если бы персонаж (или даже автор) был изначально включен в некую формулу, реализацией которой являются его поступки и речь. Однако осознание вовлеченности во внешний алгоритм (отношений, логики, языка) чревато стремлением его преодолеть. Вот почему такого рода письмо есть восстание против формата – любого: социального, жанрового, психологического, философского или какого угодно еще.

© Эдуард Кранк, 2020

© Ольга Гаврилова, рисунок, 2020

ISBN 978-5-907313-52-1

© ИД «Среда», оформление, 2020

## **ОПЫТ КАЛЛИГРАФИИ**



...и под рукой вдруг окажется стопка бумаги, лишь наполовину исписанной, с одной то есть стороны, – надо бы выбросить, а почему-то жаль. Потом, формат: кажется, двенадцатый; та еще перспектива: покрывать горизонтальными как бы дважды белое пространство, плюс совершенная невозможность транспортировки – вот-де тебе твой угол (многожды описанный по мелочам и оптом, так что действительность угла все-таки мнимая), не вынести за его пределы, хлопотно; наконец – и это, может быть, самый соблазнительный повод – возможность существовать в виде возможности для себя самого. Кто не мечтал... оборот с бородой: и какой русский не любит быстрой езды... о езде как бы не быстрой и не вовсе, может быть, русской, без колымаг и прочих, рессорных и без, штучек, а как бы просто – на своих двоих, пешком (из чего вовсе не обязательно выводить босоногую опрощенность), без спешки, куда глаза глядят, без всякого плана, умысла, цели, а *так*, – есть, мол, бумага случайная, вот испишу эти несколько страниц и вернусь домой, в кроватку, бай-бай, а то и брошу... И главное, чтоб героев – ни-ни!.. никакого человеческого участия – со стороны объекта ли, субъекта, и уж никак не со стороны того, кто над. И никаких имен. Это даже не дуть в свою дуду, это просто... просто... просто... – заело пластинку: никогда не произноси ложных слов. Всё-таки мораль: не лги! – Ну, не буду, не буду! Хотя как не лгать-то? – А и лги, пожалуй, да себя-то блюди. – Вот: «блюди» – это совсем другое дело. Буду блюсти, соблюдать себя, *соблюдать-ся*.

Поскольку названо пространство (угол), умолчим о времени, или обойдем его местоименной какой-нибудь отсылкою, тем более что дату-то мы уже привычно ляп-

нули (однако трудно не лгать: вот хоть это ханжески-множественное «мы»)...

2

...потому что не хочу я никакого отражения. Пусть зеркало будет пусто. Пусть зеркало молчит. Пусть оно будет тёмно, как при покойнике, только чтобы не нужно было занавешивать: тут же возникнет занавешивающий, с путаницей лево-право, пусть лишь на мгновение возникнет – и всё пропало. Самое предположение о таковой возможности – и весь смысл уже потерян, ибо вот – двойник-с... двойник-с... Если подумать, эта борьба между возникающим и твоим нежеланием его, эта драка, эта драма двух действительностей и есть самый любопытный фокус. Это как второе зрение за спиной слепой Судьбы, хотя чего-чего, а лопаток своих или задницы (пардон) она тебе никак не покажет, – при том, разумеется, условии, если она вовсе от тебя не отказалась, то есть именно «не показала спины». И при этом – заднее зрение, точнее – его отсутствие, то, о чем она и сама не подозревает, увлеченная миражами своей собственной (передней) слепоты. Но любопытно было бы глянуть, что там... Это любопытство, при пустоте в зеркале, – любопытство призрака. Этакое необязательное существование в пост-жизни. Без достаточных оснований. Глупо было бы думать, что призраки являются с тем, чтобы завершить незавершенное, подвинув потомственного увальня-рохлю к отщению; интерес призрака – призрачный, праздный, досужий, поэтому они так навязчивы и своевольны, ведут себя неподобающим образом, беспардонно вмешиваясь, переиначивая чужую судьбу.

Все-таки не уйти от воплощенческого корыстолю-

бия, хотя бы и праздного, факультативного. Всерьез беспокоят нелады с чистописанием. Всё в нем кто-то проглядывает. То есть не вовсе темно зеркало. Этакая шевелящаяся игривость. Да и то сказать: что мы без нее, без этого будто бы не-присутствия, без легонького хотя бы «понарошку», делали бы? А плакали бы мы – вот что делали... Слишком сыро. Осень. Изморось. Моросить – вообще порочное занятие, особенно если не осень, а давным-давно зима. Стужа-с.

3

Предпочтительнее преуказать ему теологическую сферу. Это не значит, однако, что появился «некто». Отнюдь, а лишь как бы сослагательно, гипотетически. Неотеолог, реформатор, помесь – в качестве неопита – гугенота с готтентотом. Звучит презанятно: «сделать теологическую карьеру». То есть прийти к некоему новому пониманию. Взойти на джомолунгму знания, которое безусловно, потому что в существе своем религиозно. Взойти-то взошел, а дальше? Надо же и дальше идти, а вершина – вот она. Выше пути быть просто не может. Жизнь осуществлена, путь пройден, судьба исчерпана. Естественно предположить некий личный интерес: и как это меня (его) угораздило? Сколько народу пыталось взобраться, да всё куда-то попадало, попропадало. «А я? Почему? С какой стати?» Детективный пафос исследователя побуждает попристальнее взглядеться в отдельные моменты восхождения; критика чистого разума тянет тебя назад. Тем более что путь – пройден, а жизнь как бы еще того, скрыпит, дышит, колеблется; достигать вроде уже нечего, а остаться столбом стоять – и неудобно как-то, и глупо, признаться. Да и что это за путь-то такой? В чем его суть? (Это рифма такая: путь – суть...) Механизм, так



сказать, каков?.. И ты возвращаешься, не как в гавань корабль, которому большое плавание, а сходишь на берег навсегда (?), о, конечно с грузом исполненной карьеры, то есть при всех регалиях и в полном блеске собственной представительности и осуществленности, но при этом чувствуешь себя пенсионером, ветераном, оттрубившим свое, и ежели что тобой еще движет, так это именно проснувшаяся, прозревшая твоя пристальность к былому этапу, к окружению... ах... ах... какая встреча!.. ты помнишь?.. помню... а ты помнишь?.. нет, ты помнишь?.. ну как же! ты не можешь не помнить этого!.. там было то-то и то-то, те-то и те-то, и ты еще сказал... – не помню... – да ну брось! там еще и т.д... – нет, я не помню... – ну, так я тебе расскажу, и ты вспомнишь...

Предварительный холодок в позвоночнике ощущаешь при самом начале... Смешанное чувство неловкости и еще невнятного подозрения...

...Но этого не может быть! Я не мог этого сделать! Я не говорил этого!

– Да как же не говорил! Пойдем спросим у имярека. Он тебе подтвердит...

Имярек подтверждает.

– Да, но тогда я-то почему не помню? Ведь это же так важно! Это же...

– Подожди-подожди... Ты ведь тогда этой своей... как ее... джомолунгмой бредил... А что мы тут навспоминали – ерунда, мелочь, эпизод, маленькая былька, семейная как бы интермедия... бирюлька, так сказать... пу-стяк-с...

Лучше промолчать, почему так катастрофично твое невспоминание.

Лучше промолчать, почему... Не то чтобы ты обманывался по поводу собственной невинности, непреодоленного целомудрия, безгрешности. Получается, что единственная твоя вина – это джомолунгма, это Судьба, которая свою слепоту препоручила тебе. И женщины, их призрачная вереница (вереница призраков), этот хоровод вокруг, смыкающееся, затягивающееся удавкой на горле кольцо, – ведь и перед ними ты был невиновен, невинен, безгрешен, ибо был слеп и искал в них ее, слепого своего поводыря, а она всякий раз подставляла тебе кого ни попадя, и в этом заключалась ее любовь; она искала этой любви, ласковых слов, стихов, темного твоего бормотания, слушала любовные стоны, вызывала проклятия ревности, примеривая всё это на себя самоё, словно бы это она сама отдавалась, была послушна, изменчива, подла, умна... – да как ей и быть, если у нее трудности с собственной плотью, если ее плоть – это и есть ты сам, ты-сам-в-этом-хороводе, а что до губительности такового инцеста, до твоего безгрешного соучастия в нем, – что ей до того?..

С тем, что называют дружбой, и того хуже. Предательство на предательстве. Хорошо, если тебя предали, тут справляешься сам, плюс одним твоим предательством меньше (то есть скорее минус). А не предать нельзя, потому как дуда дудит, вершина сияет в лазури мечты, поезд отходит – словом, наступает УЕЗЖАНИЕ... И, положи руку на сердце, тебе мало дела, простят ли тебя. Вот где загвоздка: знать, что вот она – вина, вот он – грех, совершенный тобой, и при всём том осознавать свою непричастность к нему. Если бы только первое, так там есть выбор, а всё вместе выбор исключает, исключает действие, поступок, исключает искупление. Ладно, тогда ты

был слеп, тебе сияла твоя джомолунгма, но теперь, теперь...

И продолжаешь спуск... Изволь, еще встреча... Еще анекдот, еще – а ты не помнишь. Ты всё забыл. Но ничего, не страшно, тебе напомнят, и оттого, что это теперешний ты, спускающийся, нисходящий, а напоминают тебе тебя восходящего, забытое и вдруг возникшее представляется столь непоправимым, что уж лучше бы и не встречаться с ними, свидетелями, ведь даже самые тихие из них при свидании коробят: ну, к чему это опять? – право, совсем ни к чему; и вот бессонница и острое ощущение полнейшего краха, падения окончательного.

Поэтому не нужно критического разума. Не нужно оглядки и нисхождения. В конечном счете, это уже другой путь. Не от подошвы к вершине, с легкими факультативами лирических отступлений мемуарного свойства, а путь от подошвы к подошве; это аннулирование пути. Апокрифическая мысль: а может, и джомолунгмы никакой не нужно? Ведь какая-разница-то? Разница, конечно, есть, но тебя уже нет. Ты спустился в долину.

5

Сентенция: человек становится существом всё более внутренним, эзотеричным, имманентным. (Усмешка в зеркале: «становится». – Показалось?..) Его уже не согрешешь извне. Истинное его солнце – внутри него. Нового тут ничего нет; новое (если оно вообще...) в том, что человек стал это осознавать. Далее следуют социологические выкладки, вероятно не в нашу пользу. Но утрата интереса к сюжету, к биографии, к судьбе, к трагедии, к боли, к смерти, к завтрашнему дню должна предполагать некое компенсирующее, восполняющее образование. Соб-

ственно, если экзистенциализм можно упрекнуть в мелодраматичности, мелкотравчатости, то именно с той точки зрения, что его бытование осуществлялось в рамках традиционной философии. То есть: пишутся труды, присваиваются степени и кафедры, колеблется число сторонников-противников и т.д. и т.п., тогда как собственно экзистенциализм – слишком интимное, частное, монологичное дело, и если пишется труд, то разве что в силу традиции, из ложного пафоса самоутверждения, сказали бы мы, и в этом-то пафосе, может быть, основное его несчастье – недоделанность, половинчатость, мелкотравчатость. Простейшая мысль о том, что ежели ты существуешь, о каком еще самоутверждении может идти речь? – как будто не приходит в нашу экзистенциалистскую голову. Потребность в критериях – ах, как всё это скучно! Да ради Бога, что угодно, будь каким хочешь – я принимаю тебя. Как принимаю свою призрачность, не требуя никаких аргументов достаточности, уместности, оригинальности, воли и что там у вас еще?.. – короче, весь этот арсенал мне не нужен, к чему эти внутренние доспехи? Внешние – да; в них есть необходимость, но именно служебная: постольку, поскольку не хочу всем показывать свое солнце, какое бы оно ни было – черное, белое или пурпурно-огненное, испепеляющее. Именно: исчезла потребность в сравнении – а как, мол, с этим у других? В конце концов, это их проблемы; от меня же зависит (если все-таки зависит) принять к сведению эти внешние доспехи и попытаться найти в них соответствие собственной открытости. Но как только начинают демонстрироваться доспехи внутренние, ты еще по инерции оцениваешь это с точки зрения внешних критериев, надеясь предотвратить неловкость, ее не заметив, но в любом случае это неприятно, ибо не подобает. Возникает досада; лучше распрощаться. Момент личности,

воли, монологичности и проч. не вызывает расположения; чужое же тепло – да, вне зависимости от его степени, безусловно. Заповедь «возлюби ближнего своего как самого себя» настолько стала общим местом, что впору намекнуть об ее осуществленности, даже больше – порой кажется уместным, чтобы «ближний» и «ты сам» поменялись местами. Иначе говоря, если возникает на горизонте ближний, у тебя нет причин его не любить. Благосклонность стала нормой. А посему психологизм как способ познания ближнего или самого себя уже не выдерживает критики. Не критикуется вовсе. Оставляет безучастным: нет дела... Но такого рода эмансипация, с внутренним солнцем, не проходит безнаказанно: подвергается сомнению достоверность этого солнца со стороны внешней жизни. А доказывать его действительность – «вынь да положь» – всё равно что вырвать из груди сердце с тем, чтобы окружающие убедились в его наличии. Вырвешь сердце – умрешь. Вырвешь солнце – потеряешь себя. Неизвестно, что хуже. Но ежели окружение жаждет удостовериться, тем самым выражая сомнение в твоей «наличности», то бывает, что это сомнение начинает изводить и самого носителя. Действительно ли я есть? – спрашивает он себя. – Может, никакого солнца нет и в помине, и внутри меня пусто так же, как и вовне? может, меня давно нет, и это мне – или кому другому – только снится, что я существую? Не призрак ли я самого себя?.. – Такого рода вопросы отнюдь не свидетельство слабости характера, ибо окружение бывает столь назойливо в своем будто бы законном требовании тебя «разъяснить», что иной раз и впрямь лучше счесть себя существом недостоверным, чем доказывать что-то. Да, такой холод кругом...

...Той зимой было не выжить. Эта негативная уверенность была столь прочна, что когда зима все-таки миновала, яркая зелень лета, как бы свалившегося с луны, воспринималась как нечто в высшей степени искусственное, киношное, синтетическое. Было ощущение, что обманули – обещали конец, ан вдруг передумали, но ты до такой степени привык к мысли, что эта зима будет в лучшем случае вечной, что вот идешь, бывало, себе по улице, глядь – что-то обронил: не то локоть отвалился, не то щека отпала (этакий суховатый шлепок), не то еще что-нибудь (на выбор). Звонишь приятелю, делишься потерей-утратой, и на твой вопрос: а он-то как справляется? – слышишь в ответ, что, в общем, ничего, справляется, и хотя петуху уже отрезали голову, он еще носится по двору, и круги, описываемые им, безголовым, кое-кому даже кажутся правильными, то есть обладающими своего рода благообразием, чтобы не сказать: гармонией, ниже красотой... Но дело не в прошлой зиме, и уж конечно не в том, выжил ты или нет, а в зиме как таковой.

Обстоятельство времени: дата рождения... впрочем, необязательно, чтобы это случилось зимой. Важно первое впечатление – и оно зимнее. При этом смутное правоспоминание о лете все-таки почему-то присутствует в этом впечатлении. Больше того, самое-то детство, может быть, и проникнуто этими летними флюидами – потому хотя бы, что ты явился на свет летом столетия, в полдень века, когда солнце стояло более или менее в зените. Это уже много после, с мужанием, когда тени стали длинными, когда поздно светает и рано темнеет, когда даже недолгий день все-таки полон сумрака, как воздух – пыли, когда для тебя становится данностью, что твоя взрослость, твой (не без оговорок) расцвет, твое

лето пришлось на вечер века, на зиму столетия, – тогда-то становится очевидным, что твое летнее детство было не вовсе даже явной, весьма краткой, очень локальной оттепелью, ибо оно просто несопоставимо с зимою тысячелетия; этот мрачный декабрь с самой долгою ночью, наконец – сама эта самая долгая ночь поглощает всю твою жизнь, вбирает ее в себя вместе с миллионами других, за которых ты несешь тем большую ответственность, что видишь их, лишь когда приблизишься вплотную, с фонарем в руке или в освещенной коробочке комнаты... во всяком случае, при сугубом и неминуемо интимном внимании. Самих же миллионов – не видать. Тычешься в чье-то плечо, слышишь жвачку множества ног, месящих снежную грязь; продираешься сквозь толпы очередей, и пытаешься урезонить себя доводом – когда запнешься о чью-нибудь ногу и ляпнешься лицом в эту грязную кашу, – что сердиться напрасно, что дать этой ноге по уху значит незаслуженно оскорбить ее, ведь у нее не было злого умысла, и потом, почему ты так уверен, что это именно *та* нога, в этакой-то мгле и суতোлке немудрено и обознаться. Словом, принимаешь зиму как данность, как предпосланную тебе сферу существования, и что же с того, что зима эта кажется еще более зимней благодаря пространству, где тебя угораздило родиться, стране и городу, этой снежной и темной пустыне, этим пожизненным Томам, которые, как ни верти, и есть твоя истинная родина, которые и есть твое настоящее лето, хотя всё, что ты о нем знаешь, – это случайная память об оттепели в детстве, и неизвестно, чего тут больше: вымышленного тобой, того, что ты, за неимением более знойных воспоминаний, сложил в легенду, слепил в миф, или же действительно бывшего... но и это «действительно бывшее» звучит так туманно и блекло, что остается детская ле-

генда, сказочка, которую повторяешь себе на ночь, усыпляя свое внутреннее, никому не явное солнце, эту свою «черную дыру».

7

Собственно, детская оттепель, местное, дважды бабье лето христианской истории, весьма провинциальное, периферийное, чуть ли не запредельное, сыграло с тобой злую шутку. Поднимаешь фонарь, приближаешься к зеркалу, и если в нем еще что-то шевелится, очень неважно и с каким-то тоскливым ответным огарком вместо фонаря, – то и слава Богу. И если прислушаться, достигнет слуха невнятный бормотный лепет, и нужно быть очень терпеливым, как когдаходишь в темный зал и останавливаешься, чтобы дать глазам привыкнуть к темноте, и тогда по каким-то легким шевелениям теней начинаешь хоть в какой-то степени членораздельно сей интерьер переживать, – так и тут, по длительном молчаливом вслушивании случится, быть может, уловить фразу, другую... и эту интонацию жалобы, печальное ламентозо странной тени с дымным огарком. Вслушиваешься еще, еще, так что звенит в ушах, и голос, достигающий таки слуха, звучит металлически, как при посредстве телефонной мембраны, и понимаешь, что нет, не жалоба, вовсе не печаль в этом влажном тембре, а голая констатация краха, лишённая какой бы то ни было эмоциональной окраски. Возможно, это началось еще в то легендарное маленькое лето, которое одной лишь возможностью своего существования, какой никакой протяженности обещало тебе в будущем света столько, воздуха столько, лазури – небесной и водной – столько, что тебе и в голову не могло закрасться подозрение, будто всё это блеф; оставалось просто ждать, отдавшись теплему потоку времени, который



сам вынесет тебя к твоему цветению; не отсюда ли столь странное, весьма демократическое ощущение сродства со всем сущим, что, по чести сказать, тебе нечего было делить с твоим окружением, ибо, не имея даже повода сродство это осознать, ты все-таки был к этому родственному миру столь равнодушен, как будто луч избранности отметил почему-то именно тебя, и самое это родство сущего с тобой светилось достоинством равноправия – в силу исключительно лишь его нерасчлененности, и только как целое было это сущее тебе равновелико. И если ты был внимателен к нему, к отдельным его чертам:

8

плотному стуку яблока, упавшего на влажную землю, и – много позднее – россыпи золотых плодов на белой скатерке круглого стола в простенке, и низкому свету, падавшему из двух окон бревенчатого дома на окраине города, на самой окраине, потому что дальше, за садом, начинался лес;

синему вкусу сигаретного дыма, шевелящейся паутиной – как при замедленной съемке – затягивавшего пространство кухни;

ссутулившейся в углу, над дверцей печки, ватниковой спине старика... – хруст нарезаемой щепы, а перед тем – короткий удар ладонью по спинке ножа;

странно родному лицу – более родному, чем лица отца и матери, со старческой стальной щетиной, которой он царапал тебе щеку в мгновения пьяной нежности, но доброта... даже не доброта, а что-то жалковато-счастлирое в его глазах с выцветшей радужкой, и как он любил тебя, и как потом умирал, вдруг выплыв из своего бессознательного сна, когда тебя подвели к нему проститься:

эта трудная слабая улыбка и одним дыханием произнесенное твое имя, – невыразимое, тысячу раз жалкое, горчайшее, самозабвенное счастье прощания, прощения, – он уже уходил, и так хочется думать, что ты был последним, последним, кого он узнал, добрый безногий призрак у низкого окна, выходящего на дорожку к дому; и вот его молчаливые последние вещи: крест оконного переплета и желтое плоское лицо старого репродуктора в углу, неразвернутые газеты на столе – том самом столе, где лежат яблоки, под саврасовскими грачами да аляповатым выражированным овалом курортной фотографии: море и пальмы; желтые глянцевиные плахи широких половиц, щели между которыми устремляются к подножию твоего взгляда, смотрящего из проема двустворчатой двери, где когда-то стояла печь и сидела спина, а потом висела пестрая бабкина занавеска, отделяющая угол кухни, – взгляда, смотрящего на горбоносый профиль, приникший к оконному стеклу: о чем он думал в эти свои одинокие недели у окна, о чем он молчал?.. – тихий уход, угасание, белое наплывание зимы, застывшей взгляд..

9

...Предложение не удалось, перечисления не вышло. Текст восстает против синтаксиса, против самого себя, и тут важно только, чтобы никто не услышал этих кашляющих, каркающих звуков твоего горя, которое бессмысленно обозначать словом «рыдания» всё по той же причине восстания текста. Ты не справляешься. Не справляешься. Холод подступает тут же, не позволяя даже закончить предложение, проследить мысль, заключить фразу; желтовато-зеленые антоновские яблоки (жесткие и ржавеющие, когда надкусишь, мгновенно, на глазах, – так иногда в детстве случится увидеть, как движется часовая

стрелка громоздких часов «Победа») на белой скатерке вдруг начинают превращаться в ржавые мороженые плоды, загодя принесенные из подвала, неожиданно сладкие и мягкие, леденящие зубы; в комнате полутемно, а в низких окнах – голубовато-розовые тени деревьев, ограды и дома, с примесью мрака, который пока неясен, но проходит час (ты видишь, как движется маленькая стрелка) – и только он один теперь царит, только этот мрак, только эта ночь. Иллюзия досуга, некоей остаточной темноты, которая позволяет зажечь лампу, пристроиться в «углу» и не-справляться с текстом; и в полумраке не видно, что это отражает там зеркало, каллиграфия ему недоступна, и остается довольствоваться ею как иллюзией же, обманывая себя соображением, что твое чистописание самодостаточно, а посему лишено надежды на отражение; в конце концов, пусть и иллюзия, ну и что? Поэтому, возможно, ты волен быть свободным в этих своих штудиях, а что черные горизонталы вдруг встают, встают на дыбы и иглами, вязальными спицами, вонзаются в молчащую гортань, застревают в ней, как рыбные кости в горле, – тут уж не обессудь, в какой-то мере ты был к этому готов, имея в виду свои прошлые опыты, пусть и не столь «самодостаточные», как этот. Странно, что ты вообще можешь еще продолжать, ведь дышать-то давно уже невозможно, впору бы и перестать. Но неясность, призрачность, отсутствие отражения, дырка без бублика вступают тут в свои права, и если зеркало пусто, если голоса нет, если гортань заморожена и всякая попытка говорить сопряжена с шевелением в ней множества игл, – то, может быть, именно благодаря им, иглам, она еще жива, и если нельзя голосом – то пусть лишь дыханием (как твое имя, выдохнутое умирающим) ты распоряжаешься сам, пока еще распоряжаешься, –

так выдыхай свою каллиграфию, даром что не справляешься с ней. Нанизывай на эти иглы петли твоего маленького лета, плети их, вяжи, – неважно, что никакого, хоть мало-мальски приличного платья ни связать не удастся, ни облачить в него свое солнце, дабы не позволить ему замерзнуть напрочь, – остается само вязание, вязь как таковая, черновые упражнения в ней, без всякого прописного пафоса...

10

Там была девушка, река, песок и сосны на песке. Еще этот свет – ощущение, будто в нем было что-то от сумерек, но каких-то светящихся, воздушных сумерек, веющих прохладой от речной воды, – да-да, это сумеречное тепло, смугловато-светлое тело, столь близкое, что оставяло безучастным: тебя как бы нет, хотя всё проникнуто твоим чувством, которое есть всеислие и всеприсутствие и которое ничего не домогается, ничего не желает, которому ничего не нужно. Странно, что не разобрать ни черт лица девушки, ни цвета ее волос: они сливаются с этим сумеречным светом, с песком и водой, – явственно только тело, которое почему-то неправильно назвать нагим; явственны эти капли на коже, эта тишина, которую нельзя назвать немотой и которая не требует оттеняющей ее детализировки: всхлипа воды под ладонью или же песчаного шепотка. А что до цветочного (с узором цветов) платья, что до иссиня-черных волос, неожиданно жестких, когда прикоснешься к ним губами, что до бури, разразившейся вдруг и действительно придавшей этому телу наготу; что до возвращения в город в трюме баржи, где бородатые подвыпившие люди гремели под истязаемую гитару, бросая на девушку взгляды, в которых была

похоть и, вместе, незаинтересованное любование юностью; что до крика чаек в разгар их рыбной охоты, что до мокрого металла дебаркадера и тихого возвращения, – всё это действительно было, но в ту картинку, недетализованную, картинку скорее чувства, нежели жеста, я могу входить бесконечно, как в некое пространство моего «я», как в воду, о которой темный мудрец высказал нечто совершенно противоположное тому, что, по всей видимости, имелось в виду. Впрочем, это подразделение памяти на миф и на то или иное его воплощение не совсем правдиво, когда речь заходит о сентябре, о действительно бабьем лете, со звездочками фиолетово-красных гвоздик в темных мягких волосах, о запахе хмеля под дождем; о черных просмоленных ладьях, в которых крестьяне перевозят сено и скот на осенней уже реке с характерным холодно-стальным отливом, отсвет которого вдруг увидишь во взгляде напротив, пристально-чистом, вызывающем слезы; о жестяной кружке на цепи у колодца, которой ветер, как ночной сторож, гремел по ночам... – но речь об этом не заходит, я не хочу, просто навязчивость Памяти или Судьбы, одной из двух этих своенравных, нелицеприятных, но чувствительных дам, а может – обеих сразу (попутное подозрение в том, что они идентичны), предъявлено тебе в виде женского каприза, – но полно, оставьте, я не хочу, разбирайтесь сами. К тому же, дело и впрямь идет к зиме, к болезни девушки и телефонному голосу в снегопад, и если ты хочешь удержаться на грани этих летних впечатлений,

вызови грозу в степи, вспомни вспыхивавшее огромным бельмом циклопное небо и разрывы грома, эти страстные рыдания молодого Бога, в которых были гнев,

бессилие, апофеоз, горе, самозабвение и боль, и была жуткая радость, что возможна такая сила чувства, слепого чувства, ибо что было Ему до беленького сверчка автомобиля, копошащегося под шквалами этих рыданий, с жалобным писком внезапно заклинившего звукового сигнала, неслышного там, наверху... Задним числом кажется, что всё тут и должно было кончиться, в этом пекле молний, с неубедительным скулежом автомобиля и отважной суетой взрослых, но, вероятно, нужно было возвращение, то странное – и тоже сумеречное – состояние, в каком глядишь, после того как повидал много городов, с их улицами и домами, с их дворами и закоулками, с их глянцевыми достопримечательностями и отвратительными задворками, – глядишь и не узнаешь родные свои Томы, дворовые и школьные лица, которым всё равно не объяснить их недостоверности, по крайней мере в твоей жизни. То не высокомерие, а дистанция пережитого, отчасти моря и чужих городов, но, говоря метафорически, пережитой дороги, этой пепельной ленты, тянущейся перед глазами день, другой, третий, неделю, месяц, с появлением, приближением, отдельными крупными планами и детализировкой – лиц, силуэтов, ресторанов, гостиниц, гор, границ, дворцов, полотняных палаток кемпингов, заправочных станций, провонявших сладким бензином, и проч. и проч., – и их отдалением, угасанием, пропажей из виду, исчезновением навсегда. Так вот оно что, говоришь ты себе, ведь и этот городок тоже исчезал навсегда, как и другие города, и вся разница в том только, что ты вернулся... или это тоже уже другой город: вот главную улицу оснастили красным турникетом, отделившим липы от мостовой, во дворе насыпали спортивную площадку, где можно гонять мяч, поддевая облачко песку... у деда отрезали ногу... невнятное, обескураживающее чувство

вины... как же так?.. и как совместить с этим свое августовское счастье: огромные, привезенные на горбу автомобиля, вылежавшиеся на газете под кроватью груши ко дню рождения... и было лицо мальчика, который готов был слушать тебя, чтобы вдруг перебить и заговорить о том, как ходят в ночное пасти лошадей, как много свободы в деревне – интонация становится ложной... – о чем ты потом прочтешь в книгах, подсмотришь взглядом соглядатая во время командировок на сельхозработы, фольклорных и диалектологических экспедиций, – это были тоже летние впечатления, с тем, однако, примечанием, что в них не было несвободы дороги, защитной скорлупы автомобиля, а было что-то такое, о существовании чего ты только подразумевал где-то внутри себя, но в чем ты не мог удостовериться так, как это было с твоим приятелем. Родной город, впрочем, теперь тоже был ему чужой, но у него уже было место, родное ему; у тебя же были другие города, столь же чужие, в сущности, как и твой собственный.

12

«Школьные будни носили вполне, так сказать, дортуарный характер.» Эта фраза ко многому обязывает – к тому, например, что впоследствии их добросовестное описание в лицах, что возникнут, как будто так и следует, школьные наставники с их странностями, пошлостью и достоинствами, закопошатся в своей вечной неприкаянности изменчивые фигурки их воспитанников, твоих что называется однокашников, – к тому, наконец, что бесформенная твоя каллиграфия вдруг превратится в мемуарный бред, с его монументальностью и соплями. Мало ли что к чему обязывает! Это поспешное, отдающее инфантилизмом согласие с тем, что надлежит: «надлежит, мол,

надлежит», подтвержденное неоднократным киванием носом, но при этом – странное спокойствие при бегстве в собственное нутро, непозволительном, конечно, ненадлежащем бегстве – тем более если оно все-таки пытается во что-то позволительное вырядиться. Это как примерка чужого платья, без того, чтобы щеголять в маскараде, вне критериев времени и пространства, вне подлежащего «надлежащего». То есть вот тебе нужно, допустим, тащиться на занятия в автошколу, надлежит обязательно пойти, опять же – скоро экзамен; ты одеваешься, чистишь туфли, выходишь, раскрываешь зонтик, закуриваешь, и вдруг поворачиваешься кругом-марш, как бы втайне от самого себя отворяешь дверь, раздеваешься, зажигаешь лампу, и, прокравшись, садишься в свой «угол» каллиграфировать о детской дружбе, той, что возникает вопреки «дортюару»: вопреки размерности обеспеченного школьно-домашнего быта, которую взрослые и недалекие люди за недостатком воображения (впрочем, простительным) почитают основой счастливого детства. Вероятно, таковым оно и было, с более или менее установившимся режимом, с незначительной будничной конфликтностью временами... Это, впрочем, не совсем так, но я не хочу об этом. Я хочу о влажном и нежном имени друга на языке, о внезапном тепле, которое переполняло душу, стоило его назвать, позвать... поднималась внутри солнечная волна и плыла в душевном пространстве. Теперь, вглядываясь в черты этого мальчика, я не вижу, чем он был мне близок; это как с женщиной, которой вызваны твои лучшие чувства, но она их не заметила, – и тут невольно ловишь себя на мысли, что если действительно так обстояло дело, то это ты сам, со своими сантиментами, был высокомерно равнодушен к ней, ибо не видел ее, находя в ней всё что угодно, только не ее самоё, – пример бумеранга, не встретившего препятствия на



своим пути и снесшего тебе голову по возвращении. Изменим точку отсчета: быть может, дело даже не в человеке и не в тебе, а в той теплой волне внутри, к которой ты имеешь то отношение, что носишь ее в себе, чувствуешь ее колыхание, этот ее подступ к горлу, когда всё: струйка чая, дождь за окном, голоса в прихожей, брошенное кем-то посторонним слово – любая деталь способна вызвать неумные слезы твоей признательной любви к миру, к его убогому горю и тихому длению, тленности, млению в ежедневной мужественности жизни, даром что последняя подпадает под категорию женского рода. Но с тем мальчиком было не совсем так, потому что не только имя – маленькая шоколадная косичка в ложбинке шеи, прерывистый ухающий голос, уступивший место туповатому в своей безупречности молчанию, наконец, один зимний вечер, когда он ушел, а ты со своим говорением пытался оправдать, словно затушевать (снизойдя до равенства и даже до некоей приниженности объяснений) свою любовь не к человеку, а к этим добросовестным атрибутам: косичке, имени, речи.

13

Что ж, цифра «13» – недурная метка, чтобы закончить период и разделаться с чувствительностью, которая, как мы увидели выше, лишила возможности закончить предложение, обозначенное в конце седьмого, кажется, листа, о странно уверенном ощущении родства этого окружавшего тебя лета, о твоей равновеликости с ним как с целым, и «если ты был внимательным к отдельным его чертам» (всё нижеследующее можно прочесть как неудавшуюся попытку эти черты перебрать, как перебирают крупу перед варкой), то (и тут мы наконец «справляемся», доводим фразу) лишь потому, что в каждой из

них, из этих легендарных вех твоего маленького лета, было указание на его действительное, органическое событие рядом с тобой, на его отделенность от тебя, на его, наконец, симбиотическую от тебя зависимость. Как аристократ лишен притязаний на особое место среди прочей публики – в силу осознания им своей отдельности, естественно-изначальной принадлежности к королевской крови (не путать с вундеркиндством, где талант постижения каких-то областей жизни и знания определен резко, направленно; тут же – другое: неконфликтное принятие жизни, без всякой необходимости завоевывать ее, без особого любопытства, интереса к ней, а счастливое и простое допущение этого соседства, существования о бок, с легким привкусом твоего превосходства: не будет тебя – не станет и ее, она рухнет, пойдет насмарку), – так и ты был к ней, в общем-то, расположен, благосклонно принимая ее дары и глядя сквозь пальцы на ее капризы, мирясь с ними как с необходимым злом, как следствием иного ее происхождения; поэтому самоутверждение сверстников, их попытки «снискать доверие», «завоевать авторитет» если не оставляли тебя вовсе равнодушным, то вызывали какую-то не до конца осознанную брезгливость, желание пройти мимо, не заметить, как если бы кто-то рядом допустил очевидную нелепость, да еще стал на этой своей нелепости настаивать. Это совершенно «летнее» ощущение родства с миром в плебейской стране представляется странным и необъяснимым, тем более что твое весьма низкорослое генеалогическое деревце лишено каких бы то ни было поползновений на аристократизм, и ты готов был бы отнести это ощущение избранничества на счет заблуждений детства, если бы сегодняшнее превосходство не причиняло столько неприятностей и боли. Даже больше того: ты готов допустить в каждом из людей по-

добное чувство, если бы не... Впрочем, когда ты уже спустился в долину, то не может не коробить ложность этого оборота: «готов допустить в каждом...». Бог с ними со всеми... И откуда тебе было знать, что это вовсе не лето, а оттепель, что кругом зима, тьма, тюрьма и чума, что твой счастливый родной город с улицами, тянущимися вверх, если смотреть на него с реки, и домом на главной улице, с высокими потолками в нем, – что всё это в свой час обретет безликость затерянных в пространстве Том, с их провинциальной претенциозностью и патологическим в своей закоренелости варварством, которому тебе нечего противопоставить, кроме твоей каллиграфии и твоего одиночества.

14

Порой он все-таки еще появляется в зеркале, двойник, выбирая для этого минуты твоей искренности, когда ты говоришь без оглядки на зеркало. Тогда-то он и начинает кривляться, перевирая всё тобой сказанное с обезьяньей дотошностью, очевидно считая при этом, что так он еще больше похож на тебя. Послушать, с какой проникновенной горечью, сдобренной гримасой утраченного достоинства, он произносит монолог о своем аристократизме, так и не рад будешь, что произнес это слово. Больше того, увлеченный пафосом «голубой кости», этот фигляр в зеркале – ты замечаешь вдруг – начинает дробиться, почковаться, множиться, и вот уже целый хор голосов долдонит каждый на свой лад о своей избранности, а толпящиеся фигуры грозят вывалиться из зеркала наружу, вовне, в твою призрачную явь, дабы ты воочию узрел праведность их притязаний и сожалений, дабы, наконец, предъявить свидетельства правомочности, обоснованности этих зазеркальных сетований, свои

«охранные грамоты», так что и в самом деле лучше занавесить зеркало, невзирая и несмотря на, чтобы хоть как-то утишить этот громогласно-единый в своей варварской многоголосице хор, урезонить его, уведомив, что никаких претензий на единение с ним ни по происхождению, ни по социальной функции не имеешь, что кулаки, с одной стороны, и бюргеры, с другой, – твои самые вельможные предки (всё-таки жаль, что буржуа, впору упомянуть пролетариев или бродяг), так что, как изволите видеть, не по адресу, нет-с, прошу извинить. Слышится разочарованное «А-а...», сетования смолкают или, лучше сказать, приобретают внутренний, как бы семейный характер, толпа уменьшается, спины сливаются с амальгамой, и если ты уже снял покрывало, то нет большего удовольствия, чем наблюдать пустой этот блеск, совершенно незамутненный чьим-либо присутствием, твоим собственным в том числе. Что ж, теперь к твоим личным табу, прибавилось еще два словечка: одно на «и», другое на «а», постарайся впредь их не произносить. Таковое ограничение лексики представляется каким никаким, а неудобством, коль скоро имеет смысл перевернуть летнюю вышивку и обратить взор на ее зимнюю изнанку, ведь должно же когда-нибудь, вопреки первоначальной слепоте, углядеть искусство вышивальщика, по крайней мере, тот расхолаживающий лоскут, на котором произросли легенды и мифы. Вот с этим-то, как ни странно, то есть с прозрением, и было всего сложнее, ибо, представив себе мир определенным образом и убедившись своими синяками и шишками в соответствующей его достоверности, трудно затем согласиться с утверждением, что синяки и шишки набиты не о те предметы, о которые их стоило бы набить. Это всё равно, что увидеть во сне, как тебя душат какие-то чудовища (очевидно, тоже не без претензий на реабилитацию поруганной чести), и, проснувшись, узреть в своем зеркальном отражении кровоподтеки на шее.

Смутное подозрение в несостоятельности твоего летнего благополучия, в ненастоящности узора, в несоответствии упаковки ее содержимому (фокус с фантиком, ф который фместо конфеты зафернуто пф-ф) временами закрадывалось в сознание, проступало шероховатостями штукатурки под свежим блеском краски; обозначалось пигментационными пятнами на женском лице сквозь слой розовой пудры, с ее приторным запахом подслащенного тлена; шевелилось коллоидной пылью, плавающей с невозмутимой медлительностью за зеленым стеклом еще не откупоренной бутылки с ситро; тянуло по школьным коридорам вонью мочи из туалетов, пищевых отходов из столовой; отравляло городской воздух дурнотными миазмами с бойни, когда ветер изменял направление на южное; оглашалось грязной матерной бранью, исходящей из красно-черных дыр, называемых ртами; таилось на лестнице пьяным соседом, длинноногим и нескладным, словно свинченным из деревянных жердочек, с лицом, на котором застыло выражение сношенной напрочь лакированной туфли, с каблуком на месте подбородка (это уже позднее возникла его дочь на костылях, как бы и впрямь свинченная, с застывшим, неживым, кукольным выражением младенческого идиотизма на перекошенном, сведенном судорогами лице: отец выводил ее на прогулку в полдень, когда во дворе никого не оставалось, вперив взгляд своего сношенного туфлеобразного лица в серый же, затоптанный асфальт); являлось в образе нищих и инвалидов, стучавшихся порой в дверь на четвертом этаже, неизменно игнорируя (быть может, из понимания своего ничтожества) звонок; тарыхтело, воняя выхлопами, грязным грузовиком, в кузов которого летел мусор, выпач-

канный октябрьской слякотью, – кажется, это называлось «субботник», и было недоумение: почему ты должен в этом участвовать, с брезгливостью бросая в кузов разбрызгивавшие грязные кляксы уличные отбросы, гнать жирное месиво под ногами корявой метелкой, топтаться в нем, вдыхать черную изморось вперемешку с выделениями грузовика; – тут было явно что-то неладно: то, например, с какой готовностью и энтузиазмом твои сверстники участвовали в этом, но в еще большей степени – твое малодушное стремление вызвать и в себе этот дурацкий энтузиазм, и когда учительница (без единой индивидуальной черты) заметила тебе, что ты слишком чисто одет для субботника, что тебе следует пойти переодеться во что-то более подходящее, ты был ей чрезвычайно признателен и поспешил послушаться, но, разумеется, ни о каком возвращении не могло быть и речи. Чем ты занялся дома? – разбирал марки, звонил в дверь кому-нибудь из дворовых товарищей, которые учились не в столь привилегированной школе, – чем бы ни занял себя тогда, ты несомненно отдался этому с тем большим самозабвением, что нужно было заглушить в себе автомобильную вонь, осевшую в легких, вытравить из глаз эти жирные кляксы, – и нужно же было попировать взгляду пестротой марок в классе, желтизной берез во дворе, бледной просинью вдруг очистившегося неба. Это как окно в твоей комнате, которое нужно вымыть на зиму так чисто, чтобы ни пылинки, ни подтека; это как городские троллейбусы весной, в апреле, только что выползшие из парка, чистенькие, со свежими стеклами, с блестящей на солнце яркой краской на корпусе.

Так возникла вторая какая-то мораль, мораль дезертира, который вроде бы за всех и со всеми, но лишь для того, чтобы не замечать этого «за всех и со всеми», как-то охранить свое маленькое солнце от посягательств грязи и вони, за которыми мерещилось нечто еще более мерзкое в своей окончательности. Ты оставался слеп, но это была уже какая-то почти намеренная слепота: просто ты не хотел видеть, и жизнь складывалась таким образом, что в той или иной мере твои не вовсе даже осознанные попытки эту слепоту сохранить, не выдать увенчались, в общем, удачей. Иногда, впрочем, тебе доставалось по первое число, и тогда «дезертирство» твое, твое, как бы тогда сказали, «двурушничество», являлось воочию, распускало свои павлиньи перья, потому как соблюсти приличную скромность означало бы пойти на поводу «за всех и со всеми», и Бог с ними, со слезами обиды, пролитыми где-нибудь в углу за колонной или в раздевалке (хоть мне сейчас всем сердцем жаль этого отрока), – но коль скоро речь зашла о морали, то теперь-то, задним числом, тебе явственна его правота, ибо все эти слезы хотя и были пролиты в адрес твоего горя, всё же были следствием заступничества, когда ты принимал сторону кого-то, находящегося за пределами этого «за всех и со всеми», что вовсе не означает бескорыстного человеколюбия по преимуществу – отнюдь; ты мог с таким же успехом, как и все прочие, не заметить «кого-то за пределами», что и заложило, вместе со второй моралью, основу твоего теперешнего равнодушия.

Во всяком случае, тебе удалось сохранить эту солнечную корону (просится в ряд: или бельмо слепого неба во время грозы) во взгляде, это, подразумевающее недо-

статочность зрения, обилие света в глазах – вплоть до самого конца «дортюара». Благополучие в семье, уважаемые должности, занимаемые родителями, неповторимость, единственность фамилии, ее односложность и запоминаемость; недурные, хоть и не сказать «из ряду вон», способности, приемлемая внешность; положение в школьной иерархии и ряд других, не менее «сносных» обстоятельств образовали в своей совокупности сферу, где можно было вполне слепо существовать, не утруждая себя какими-то сугубыми усилиями, дабы утвердить собственную действительность, ее обоснованность и правомочность. И, признаться, мне доставляет особое удовлетворение, что свойственные подростковому возрасту трудности в моем случае были преодолены безболезненно: я не мог пожаловаться на недостаток внимания со стороны прекрасного пола, понятие «онанизм», хотя и было известно, оставалось пустым, несмотря на то, что близость с женщиной узнал довольно поздно и известные выделения, нарушавшие покой моего сна, смущали меня – но и только; не было необходимости ни в подобострастном приспособлении к сверстникам, вниманием которых я дорожил, ни, с другой стороны, в том, чтобы противопоставить им себя, защищая свою неповторимость и самостоятельность, – мне ничего не нужно было никому доказывать; обычные дворовые драки или обходили меня стороной, или заканчивались, в силу особого стечения обстоятельств, моим превосходством; мне не нужны были ни покровители, ни завистники, и если порой варварство внешнего мира и пробивало брешь в этой таинственной оболочке и причиняло боль, то я был счастлив и слеп даже переживая ее, смакуя эту боль с упоением, как своего рода тень счастливого дара согласия с миром – дара, которым я мнил себя наделенным.



...Разумеется, ему не терпится воспользоваться нечаянной заменой местоимения со второго лица на первое, чтоб не забарабанить кулаком по груди, в немотном бесновании выплескивая тоску по единению с оригиналом: дескать, «ты» и «я» теперь одно, и мы нерасторжимы, как сиамские близнецы, что «я» без «тебя» не могу, как и «ты» без «меня», признай наконец... И вот, в этом своем дурачки-родственном порыве, с треском огромного лопнувшего пузыря, он вываливается из зеркала, как самоубийца из окна, и падает к моим ногам, звеня осколками. Так и ты когда-то вывалился в зиму, отделившись легким испугом, краткосрочным уходом в небытие. Был ясный сентябрьский день последнего школьного года, в расписании случилась дырка, которую с успехом заткнул дворовый футбол. Голова мяча вылетела вон, за сетчатую ограду площадки; ты полез за этой головой с таким энтузиазмом, будто это твоя собственная. Ограды не прощают пренебрежительного равнодушия к ним; сетка поймала тебя проволочным своим когтем за брючину, и когда ты упал на землю, стукнувшись головой о какую-то сонную железку и кто-то из футбольного загона закричал тебе что-то вдогонку, чего ты уже не слышал, – ограда не стала предпринимать ничего, чтобы умалить свою вину, напротив, она удивленно выставила свой проволочный протез на обозрение, всем своим видом выражая недоумение, по поводу уже не одного, а двух футболов, лежащих за ее пределами, с той разницей между ними, что ко второму были прикреплены какие-то конечности, двигавшиеся не в лад и неожиданно вдруг затихшие. Обморок длился минут десять, но для тебя это был сон столь глубокий, что соткавшаяся из бело-огненных точек явь не выдерживала по отношению к нему никакого сравнения:

настолько медленно определяющиеся в своих очертаниях (как на экспонированном листке фотобумаги, погруженном в слабый проявитель) фигуры и, позднее, лица тех, кто, как потом выяснилось, нес тебя на руках до школы, – настолько были они суетливо-комичны и лишены даже представления о том прекрасном знании, в которое ты был погружен, в котором ты был растворен всего мгновение назад, и единственное, чего они заслуживали, так это легкой снисходительной улыбки в адрес их неловкости и озабоченности. Очевидно, пока тебя несли, ты еще не раз терял сознание, но вернуться в ту глубину, о которой еще помнил и к которой стремился, уже не мог. Символическая картина распростертого на учительском столе тела юноши, с выражением замешательства, а то и ужаса на поблекших лицах девушек, и мужественно-вескими советами и гипотезами, исходящими из уст мужской половины, – отпечатлелась в твоем сознании столь устойчиво, что и эту картинку впору приписать действию мифологии, ибо ничего подобного по причине твоего временного отсутствия видеть и помнить ты не мог. Больничная камера, с видом из окна на пламенеющий парк, засаженный деревьями черноплодной рябины (впечатление, будто закатное солнце остановилось, продолжая лить свой теплый румянец на сентябрьскую землю), была, в общем, вполне подходящей средой для того, чтобы вспомнить неукоснительную явь твоего обморочного сна, эту темную, но не черную, глубину, в которой твое солнце могло жить само, без всяких внешних телесных доспехов, могло просто дышать и быть. Но непрекращающаяся изнурительная головная боль, усиливавшаяся в минуты, когда ты начинал вспоминать увиденную тьму; но больничные обстоятельства и тоска – это было мучительно, и на следующий же день, заключив своего рода сделку с вра-

чом, ты вновь ушел в мир, даже не представляя себе, какую шутку сыграла с тобой Судьба, фактом этого твоего недолговременного выпадения из жизни что-то подпортив в механизме приспособляемости и здравого смысла, как бы закрепив твою невосприимчивость к внешнему холоду, неспособность к прозрению и обнаружению его.

18

Теперь-то, глядя на шестнадцатилетний труп твоего отражения, ты знаешь, что это твоя слепая юность выпала в осадок, что уже никакая двойная мораль, никакое дезертирство не могли тебя спасти, что неполадки в механизме приспособляемости к зимнему окружению когда-нибудь поставят тебя перед фактом, что ты напрочь замерз, отморозил самого себя, так что остается только развести руками – не без опасения, что они, хрупнув, просто отвалятся, как сосульки. Единственное, что еще может помочь сохранить видимость приличия, так это именно двойник; и ты берешь на руки невесомое окоченевшее тело, ставишь его в раму твоего зеркала, собственной кровью склеиваешь осколки, надеясь, что хотя бы такая плата способна подкупить зеркало и оживить отражение. Можно стоять и смотреть на этого мальчика с мягкими волнистыми волосами, еще обходящегося без очков, за которыми не нужно прятать открытого гнедого взгляда, и ждать, пока на смену его остеклененности не придет внезапное тайное тепло, – неважно, что, может быть, никаких теплых перемен в действительности не предвидится и жизнь оставила тебя в самом начале юности, сохранив свой отпечаток лишь где-то на дне сознания, замкнув на него твои чувства, твое будущее. Неважно, что никакого оживления не происходит, что юноша мертв, что кровь на зеркале запеклась, оставив на

нем буроватую сетку; неважно, что надеяться не на что, в конце концов, тут ты один волен судить о жизни и смерти, и так как здравый смысл, не смотря ни на что, в тебе еще живуч (сказывается буржуазная закваска), ты не в состоянии выдать желаемое за действительное, и просишь его, мертвеца, вспомнить о солнце, встававшем над рекой, об этом пульсирующем шаре, выкатывавшимся из-за леса в пурпурно-алом своем нетерпении, помнишь?.. и как вы с приятелем шли по еще сумеречному, предрассветному городу, меряя шагами пустынные улицы и втайне опасаясь не успеть к восходу солнца над рекой, помнишь?.. и как распевали песни, закрыв глаза, предохраняя их от обнаженного розового жара, который всё равно проникал сквозь сомкнутые веки, лихорадя зеницы воспаленной малиновой мглой, – пели что было силы, лежа на скамейке взаимно-отраженной карточной фигурой, с парами легких вельветовых туфель по разные стороны скамьи, с головой на плече друг у друга, помнишь? помнишь?.. – ты вспомни дрожь, что была тебя, когда... ну да, та девушка... помнишь?.. и как ты летел в почтовом «кукурузнике» к ней, в другой город, уже наверное зная, что скоро тебя призовут, чтобы на два года выключить из этой жизни, ведь ты сам всё сделал для этого, изменив существование таким образом, что стало возможно обычное, общепринятое, всеобщее, статья тридцать вторая и прочее, потому как уже тогда было невозможно, помнишь?.. был тот странный октябрь, когда на еще не сбросившие листву деревья упал снег и сквозь него и на нем торчали и лежали эти осенние цвета, от темно-алого до зелено-бурого, едва лишь тронутого желтизной; ты помнишь, как ломались деревья под этой двойной (листвы и снега, жизни и смерти, яви и сна) тяжести, как они смотрелись сверху, из почтового самолетика, этой по-

чти порожней мухи в небесах, и как ты замерз в ее холодной утробе, потрясенный до слез красотой еще живых деревьев, на которые уже свалилось зимнее небытие, помнишь эту стужу, эту боль и то, как она исчезала под иглом стужи, помнишь? помнишь? помнишь?.. – и по легкой судороге на белых губах юноши вдруг слышишь еще не выговоренное «да...», «я... да...», «я... по...».

19

...не без риска перенаселить мертвецами свой «угол», превратить его в покойницкую, в мавзолей, в павильон для их воскрешения. Тут уж точно не справиться – и не потому, чтобы все они были тебе одинаково дороги, и не из лени, а хотя бы из нежного культивирования твоего равнодушия, которое охраняешь с тем большей зоркостью, что любишь в нем его тихое постоянство, неприязательную верность привычке, незаинтересованность в мире, покой. Поэтому лучше сохранить это «ты», обращенное к тому, кого нет, не давая повода двойникам действовать на свой страх и риск; лучше пренебречь, наконец, самой этой воздушной скорлупой равнодушия, будто ты и в самом деле открыт для каких-либо воздействий извне. Да, лучше этот неведомый «некто», с размытыми чертами, но в единственном числе; к тому же, тут есть легкая надежда, что и он, в свою очередь, весьма бережно охраняет свои мутноватые зазеркальные внутренности, свое равнодушное солнце, желая для него только одного – покоя, неуловимо-блаженное дыхание которого почудилось тебе однажды в обморочном сне с разбитой головой и томном в своей глубокой неизменности пространстве перед глазами. Странно, с какой прямоотой ты пишешь об этом, не боишься взглянуть, а ведь любая мелочь тут грозит порчей, любое воспоминание, из тех, что

застылают твой темный взгляд по ночам, когда две эти дамы, Память и Судьба, выводят за руки на авансцену третью, Совесть, и прогнать их стоит тебе труда, да, очистить сцену, задернуть кулисы и погасить свет в пустом и пыльном театре. Не сказать, чтобы в этих условиях упразднилось и самое представление, скорее наоборот: именно тут и пылают страсти, летят отрубленные головы и страдают надежды действующих лиц, даром что последних не счесть, как мертвецов в твоём мавзолее, но недалекость Совести, пристрастность Памяти и прямолинейность Судьбы упраздняются твоим равнодушием; дамы стусеваются, удаляются (не без обиды и с жадной будущей отмщеньем в груди) в какие-то задние помещения, на задворки, где у них будет достаточно времени, чтобы продумать свои мстительные планы, но когда они еще выскочат! – и представление продолжается без них, если не считать те интриги в театральной среде, что втихаря плетут эти дамы: спустившись в оркестровую яму, подсунут солисту не ту партию, не то вышептывают из суфлерской будки роковой какой-нибудь текст, или, спускаясь с потолка на манер *deus-ex-machina*, являются воочию, судя и наказуя персонажей и зрителей, провозглашая свою убогую мораль во всеуслышание, вызывая досаду, тик, мигрень. В какой-то мере ты остаешься вне зависимости от них, хотя бы от времени до времени, и тогда твои крючочки и палочки, выложенные горизонтальными рядами, и впрямь приобретают некий упорядоченный вид, и хотя говорить о каллиграфии как таковой, о ее более или менее успешном воплощении не приходится, эта упорядоченная скоропись не вовсе чужда ей и, с известной натяжкой, подпадает-таки под ее начало, и самой каллиграфии тут ничего не остается, как, кисло усмехнувшись, приступить к своим менторским обязанностям, благо что это менторство сильно отличается от

убогого морализаторства упомянутых дам и что волей-неволей ей приходится иметь дело с этим конкретным подчерком и этими конкретными листками бумаги, и если ее вдруг и начинает беспокоить текст, то все-таки опосредованно, с орфографической, так сказать, точки зрения.

20

Да, такая любопытная триада: опыт, опус, эпос. При всей более чем сугубой лиричности и нежелании повествовать. Всё что угодно, но только не это. Пытаешься заслониться, как фанерным щитом реквизита, упражненческим пафосом. От кого или чего заслониться? От обнаруживаемости заслониться, сделаться недоступным, недостижимым для нее. Сохранить оболочку во что бы то ни стало, даже под страхом скукожиться в ее утробе, выдохнуть, в виде пыли осесть на внутренние ее стенки. Уберечься от соседства, чьего бы то ни было. Влияние воображения также упраздняется, если не становится прямо враждебным: не можешь раскрыть книжку без чувства обреченного отворачивания – сейчас, сейчас появятся, изволь: время, пространство, среда, герой, второй, третий... Ну уж нет! – и ставишь на полку. Стихи? Что ж, это еще, пожалуй, куда ни шло, если бы не назойливость присутствия чужой жизни. Одной и той же, пусть и в различных состояниях. Именно это разнообразие назойливости и противно. Ковыряешься в мемуарах, в лучшем случае выкопаешь какую ни есть крупицу правды, но она столь случайна, что как бы и не правда... Представим себе жанр: роман с лирическими отступлениями – при условии отсутствия самого романа, собственно сюжета. Этакое единое нескончаемое лирическое отступление, с необязательностью признаний, с анафорически-беспристрастным «так» – даже не в качестве

вводного слова, а как бы междометия причинного (точнее: беспричинного) толка. А зачем, дескать? – Да незачем, *так...* Но ничего подобного не придумано. И как ни пытаешься отвертеться от назойливости собственной: занавешиваешь зеркала, низводишь Судьбу с джомолунгмы, споришь с Памятью на предмет – мемуар это или не мемуар (не мемуар), указываешь на дверь Совести с ее повадками заправской супружницы, – но чувствуешь крайнюю неудовлетворенность: не выкарабкаться, увязает однозначно, можно сказать, увяз и уже по пояс в снегу. Двигаться еще можно, пытаться вылезти, чтобы снова увязнуть, – всё-таки какая-то работа, движение какое-то, жизнь-с, и, признаться, глядя на эту копошащуюся черную фигурку на белом, испытываешь сочувствие к ней, но лучше отвернуться, пока сочувствие не спровоцировало тебя приблизиться, помочь, так сказать: и вот уже две фигурки в снегу, – ну что, вдвоем-то веселее будет?.. – молчат, но в силу самого вопроса появляется третий и тоже увязает, и тоже барахтается, почему-то уже совершенно независимо от того, что нет, не веселее. И так далее. Самое время отвлечь свой взор от них и приглядеться к тому, кто еще движется по непрочному насту недавно выпавшего неглубокого снега, перенестись в ноябрьское утро, с пьяно-отважной паникой призывников, почему-то сплошь в телогрейках – этакая предварительная униформа, и алая болоньевая куртка среди этих теней – что-то из ряда вон, неподобающая и даже возмутительная вольность. Речь, впрочем, не о тебе, в эту куртку облаченном, а о двоих, сопровождавших тебя до военкомата, с валенками на ногах (был неожиданный мороз с розовыми теньями), придававшими этой немногочисленной процессии беззащитный вид, вид тем более детский, что ты вдруг сделался как-то старше отца и матери,



настолько старше во всяком случае себя самого, что можешь употребить это странное, отчужденное словосочетание: «отец с матерью». Так они и останутся в твоей памяти навсегда, с момента, когда автобус тронется с места, чтобы увезти тебя в зиму, – в валенках, с растерянными, бледными от мороза, как бы застывшими лицами... Их молчаливое возвращение домой, вдвоем, в валенках, по этому розоватому снегу, и хорошо, что домашнее тепло ждет неподалеку – нужно лишь пройти переулок, повернуть от «Кулинарии» вверх, пересечь мостовую и войти в арку, войти в арку, войти в арку...

21

Арки, как известно, обладают собственным эхом. Так, эхо под аркой Генерального штаба и по сей день отдается в ушах. Дома с аркой – какие-то особенные дома, особенно если принять во внимание бездарную скудость родной архитектуры. Вечные подтеки и аммиачная вонь в арках – так же, как эхо, их неизменный атрибут, и если бы этот город назывался, допустим, Парижем, а не Сараем (не путать с Сараево, где убили эрцгерцога, хотя не исключено, что и здесь могут убить), то арочному эху прибавилось бы работы, ведь, помимо шагов и голосов, ему пришлось бы отражать журчание писсуаров. Но это не Париж, и завсегдатаи Сарая предпочитают мочиться на асфальт или на стену, и глупо было бы требовать от городских властей нововведений парижского толка: наш город ни на что не желает быть похожим, в силу убежденности в собственной оригинальности при полном отсутствии таковой, а потому он похож на ничто, но и упрекать его в этом тоже было бы неумно, ибо не виноват же он в том, что он такой, какой есть, что отсутствие писсуаров при переизбытке нуждающихся у него на роду

написано; и то сказать, я не знаю ни одного другого города, жители которого столько бы мочились и плевались; вероятно, с органами выделения у нас, в общем и целом, дело обстоит лучше, чем у других. Поэтому, когда случится вам встретиться с кем-либо из сограждан в каком-нибудь ином, не столь оригинальном городе, не нужно удивляться, если им почему-либо вздумается выделять в ваш адрес, – ваша неподготовленность к этому будет означать лишь то, насколько ослабли ваши связи с отчизной. Следует рекомендация возвратиться, хотя бы на время, в родные пенаты, чтобы полной грудью, так сказать... Вы думаете, я иронизирую? Отнюдь. Я не склонен иронизировать в адрес родины, это даже было бы странно, святотатственно было бы. А если вы возвратились, то ваше первоначальное изумление по поводу многогранности и обилия выделений и будет означать как раз, что вы забы-ы-ли, что это него-о-же, ибо свои, как говорится, выделения того-с... как бы не вовсе даже и выделения, во всяком случае привередничать и воротить нос тут никак неуместно, вас просто не поймут, а не то еще и оскорбятся. Не нужно оскорблять сограждан, к тому же, это и наказуемо – хоть всё той же вонью и экскрементами, которых для других – положительных и патриотически-настроенных людей – как бы не существует.

Что касается тебя самого, то для своих городских вылазок ты предпочитаешь ночное время, преимущественно дождливое или морозное, когда никаких подтеков и запахов, никаких сограждан уже давно нет; когда город прилежно спит, готовясь к своему завтрашнему метаболизму, а если порой ночную мглу огласит собачий лай, так это в твой же адрес, и потом: всё-таки это собаки, а не люди, и делить тебе с ними нечего, кроме ночи и звезд, кроме этих мрачных домов и забытого фонаричком света на улицах.

Я подозреваю, что должна же существовать в городе такая должность – фонарщик, и человек, исполняющий эту должность, который ровно в час ночи подходит к огромному тумблеру, хватается обеими руками за его рубильник, отсчитывает последние секунды, дергает его книзу, – и город погружается во мрак. В этом есть своего рода удовольствие – размышлять о причинах, отвлекших фонарщика от выполнения своего долга, ведь скоро утро, а наш Сарай всё еще освещен изнутри.

22

Видишь ли, фонарщик, я бы не хотел, чтоб у тебя сложилось впечатление, будто покорный слуга подпал под влияние известной традиции, в силу которой почитается особой доблестью поливать наш Сарай грязью. С тобой-то я могу быть откровенным, ведь сколько раз отождествлял с тобой себя, слыша звук твоих шагов по линолеуму, когда ты вставал из-за допотопного двухтумбового стола с вытертым зеленым сукном, прожженным сигаретами, – из-за хромоногого стола, с болванкой вместо ножки, со всяким досужим мусором в ящиках (особое место тут занимают ленивые твои заметки на разрозненных листках, твоя братская каллиграфия, – ни слова больше: разумеется, это твое личное дело); стол этот обязан тебе жизнью – с какой непреклонностью ты отстаивал его право на существование у инвентарных комиссий, с описями в лапках; – я видел этот рубиновый набалдашник рубильника, надевал вместе с тобой предохранительные резиновые перчатки, испытывая легкое привычное головокружение под аккомпанемент цикадного жужжания электричества, текущего через контакты, и, да-да, это ощущение – не власти, нет, а своей причастности городу,

тысячам одноногим его существ со слепыми лицами, которые еще живут, излучают, льют свой свет на пустые улицы, на темные стекла домов, и предвкушение их одноногой смерти – смерти задутых спичек со склонившимися в бессилии черными обугленными головками... Это замедление времени, которое перед решительным твоим движением уплотнялось, наполнялось каким-то прежде неслышимым, всё усиливающимся легким звоном, с его предельным криком в последний момент, когда лица фонарей вдруг утрачивали свет и свою лучистую, счастливую слепоту, когда они прозревали и, минута за минутой, научались видеть во тьме, и кому-то из них, вероятно, удавалось различить тень на тротуаре, под черным крылом старого зонтика – но увидеть уже посмертно, так, как видят призраки... – А у тебя в комнате светло, фонарщик; это палаческое стягивание резины с рук, тупость исполнения долга, и с какой-то легкостью в ногах ты подсаживаешься к столу, к пощаженному тобой фонарю настольной лампы, открываешь случайную книжку, зарываясь с головой в ее убогий сюжет, в чужие улицы и чужие фонари, в чужую жизнь, потому как о своей собственной уже нет речи. Разве не так, фонарщик? Ты наслал на город мглу, благодарно принятую лишь влюбленными и уличным сбродом; ну что же, должен наступить и их час – час поэтов и звездочетов, святых и злодеев, час страсти и час освобождения, греха и молитвы, забвенья и лжи. И кому, как не тебе, знающему, разделить мою желчную любовь к духовной нищете этого наспех выстроенного города, к этим диким домам, к некрасивым улицам и загаженным подворотням, к сверстницам-липам, к одинокому старому тополю над рекой, свидетелю твоего роста и твоей любви, твоего падения и твоего подвига.

Подвига, говоришь ты? По рядам пустых кресел проходит шевеление: ну-ка, ну-ка; пустые глаза устремляются на пустую же сцену, слышатся пыльные хлопки нетерпеливого ожидания: просим, просим! «А почему бы и нет?» – флегматически замечает надтреснутый мужской голос. «Так, значит, будет-таки представление?» – вклинивается визгливый дамский скрежет. «Разумеется! В жизни всегда, знаете ли...» – зевая, шелестит некто и вовсе несущественный...

– Успокойтесь, господа, – говоришь ты, выйдя на авансцену, этакий конферансье без фрака и бабочки, – случилось недоразумение, ошибка, обмолвка, представления не будет...

Шум, гвалт, свалка, скандал...

Ты выходишь из театра последним, выпадая из октября в зиму, в беленную первым снегом ночь, в ее особенную тишину и какую-то не ночную легкость. Призраки разбрелись восвояси, парочками и поодиночке, не оставив следов на снегу. Фонарщик снова проспал, и фонари с услужливым превосходством конвоиров пропускают тебя вперед. Где ты, фонарщик? – ты снова не справился... или ты заболел?.. или тебя убили?.. или ты восстал против своего гасящего долга и намеренно не замечаешь кровавый набалдашник тумблера? – да ты просто сошел с ума, если принял сторону своих одноногих подопечных, ты утратил милосердие к жертвам и убийцам, если считаешь, что они безразличны к количеству отсутствующего света, ты затмил своим светом звезды, и звездочеты слепнут от слез, не находя своих любимцев на засвеченном небе! Дай им всем передышку, сомкни веки города, ниспошли нам ночь... но ты не слышишь, фонарщик... Да и поздно уже: светает...

У слов есть собственность, которой сами они владеть не могут. Они ждут, когда ты призовешь их, назвав по имени, – и тогда они принесут к твоим ногам свои сокровища. Слова бескорыстны, да; они ждут случая освободиться от долгого груза значений и заведомо готовы к дарению – готовы свалить перед тобой свою поклажу и оставить тебя наедине с ней, одарив: мол, ты звал нас, вот же тебе награда за это, разбирайся как хочешь. Ты говоришь: «Фонарщик», – и достояние его переходит к тебе. Так, может, ты и есть этот фонарщик, и сегодня наступил твой черед гасить фонари?.. Ты говоришь: «Арка», – и вытягиваешься гибкой полукруглой полосой, чтобы услышать собственное эхо. Ты говоришь: «Снег», – и держишь на своей белой ладони весь город и тех двоих, что вошли теперь в арку, в детских валенках на ногах. Но валенки слишком бесшумны, чтобы вызвать эхо. – Я выложу улицы снегом, белым, пушистым и таким новым; я придам этому ноябрьскому утру проблеск розового тона повсюду, я не буду докучать слишком красным, слишком отдельным солнцем – не нужно, чтобы взгляд останавливался на чем-либо, не нужно, чтобы глазам было больно, а пусть будет эта белая пыль, этот легкий песок, пусть он отбелит глаза двух моих тихих людей. Простите же мне, твержу я, если снег и розовые тени – всё, что я могу вам дать, но я могу это; простите, что я совсем не похож на вас, что у меня получился путь, приведший меня к краху, к смерти при жизни, к посмертной моей жизни, но у меня получился путь; простите мне это ваше возвращение в опустевший дом, ведь всё могло быть иначе, если бы могло быть иначе. Сейчас я вас снова оставляю, тихие мои, чтобы двигаться дальше, не знаю – куда и как, и если что меня тяготит, так это застывшее выражение детского недоумения на простых ваших лицах, которых

я не видел, ибо был уже далеко от вас, но запомнил навсегда. Так что, если вы прислушаетесь, вы все-таки услышите теплое эхо: это легкое, чуть усилившееся и как бы приобретшее объем поскрипывание – хрупкий нечаянный отзвук нашей прежней жизни под высокими белыми потолками моего детства... Ты говоришь: «Эхо», – и становишься невесомым, и летишь под белым пологом арки, и улетаешь, улетаешь...

24

Увезти в армейскую зиму это эхо, самолетик над оснеженной осенней листвой, твое имя, произнесенное угасающим дыханием деда. Так кончилась юность, но что тебе было до этого, если она продолжала дышать в тебе, излучать некий свет, вероятно – глупый и уж конечно не нужный никому... Вздорная нота: категория нужности сродни домогательствам Совести; оркестрант врет. (В руках у него – деревянная дудка с нетемперированным звукорядом; си-бемоль вместо ля-диеза режет слух.) И потом, не так-то это просто – ухватить лейтмотив среди шелухи мальчишеских самолюбий, обычаев службы, среди поистершихся, перелицованных масок и картинок твоего окружения, впрочем вполне животрепещущих, но мелькающих слишком быстро, так что перу не поспеть: труп собаки в пустыне, неподалеку от ангара, где холодно и койки в два яруса стоят на песке; свет раннего азийского солнца; корявое деревцо в горах и крохотный жучок тягача внизу, и вот он уже мчится, громыхая своими железками, по проселочной дороге, с едва угадываемыми во тьме домиками армянского поселка, пятизарядный карабин на коленях; дурные сны в караулке, столь же прилипчивые, как и бесчисленные кусачие мухи в августе;

пьянка в каптерке с последующим предательством; солдатская столовая с запахом заплочной жареной картошки для кухонного наряда; книжка в высокой траве за колючей проволокой, твой наблюдательный пост; пылающие сопла истребителей во время ночных полетов; привкус керосина в спирте, которым заправлены фляжки; зеленая вода Каспия; глинобитный убогий пригород неподалеку от иранской границы, с неровными окошками-отдушинами; изощреннейшая брань старшины (в его губах трубочкой филология свила себе истинный дом) и веселое счастье впервые услышать такую искусную вязь; литое тело сержанта-молдаванина, крутившего подъем переворотом на перекладине с полсотни раз подряд; само собой выстрелившее в небо кресло-катапульта; художник, учивший тебя видеть и почему-то не ответивший ни на одно из писем, написанных тобой по возвращении; коньяк в доме командира, куда ты приглашен наравне с полковым начальством; выстрелы на посту, снег и пурга; навязчивая идея «убить Марищенко» и поздняя жалость к нему, негодяю; ночь в штабной караулке, еще и еще и еще и еще ночь в караулке; арест и его отмена; «дембельские работы» на кожевенных фабриках Ростова, с соленой вонью шкур, от которой не избавлял никакой душ, никакие отхаркивания; сумасшедшая женщина на фабричном складе, поившая чаем, который был отвратителен, но нельзя было просто встать и уйти: она была так одинока, что не была женщиной – бесполое существо с плоским лицом, с судорогами артикуляции и жестов, но именно это-то и было больно, потому как где-то внутри этого бреда таилась маленькая больная душа; гряда пирамидальных тополей у пламенеющего горизонта; философическая чушь спортивного ефрейтора по ночам, во время дежурства к казарме, и потрясающие любовные истории казарменного пикаро – ах, что толку



разбираться в этой куче отпечатков, если их нельзя сложить определенным образом, в виде, скажем, пасьянса, вычленив принцип, главную тему. Ожидаемое разочарование при ее появлении: «время, которое невозможно растратить, потому что оно всё твое в силу того лишь, что тебе не принадлежит», с побочной партией личной чести и независимости; со связующей темой снисходительно-иронического сарказма к гарнизонным будням и заключительной мелодией безоглядной и жутковатой свободы, таившейся в словечке «демобилизация», ныне анахронизме. Экспозиция в общих чертах намечена; разработки в аллегро не будет – теперь ты в состоянии разложить колodu в пасьянс; следует реприза...

25

Но что это? Какие-то настороженные модуляции уже знакомых партий... внезапное увольнение, с ощущением лопнувшего внутри резинового пузыря ожидания; вечер на троллейбусной остановке, с гитарой и пьяными слезами остававшихся; удивленное обнаружение в себе чувства благодарной привязанности ко всем, с кем без всякого твоего на то позволения соединило тебя самодурство Судьбы; ночной вокзал со множеством огней, и, хотя на тебе еще униформа, – «свободен! свободен!» в каждом биении крови; песенки «Битлз» в купейном приемнике, спрятанном под потолком, – – кажется, темы удачно переплелись, еще ряд созвучий – и сонатный пафос начнет постепенно затихать в прошлом, подтверждая исчерпанность пережитого целого, обретенной формы, но... но эти чернильно-фиолетовые тучи на едва побледневшем небе, несущиеся в каком-то тупом однообразии на юго-восток, над игрушечным Рижским вокза-

лом, – – есть в русских песнях этакий звук, звучок, в самом конце куплета, со странным понижением примерно на тон с четвертью, своего рода недостоверное эхо по поводу спетого, подвергающее его сомнению, как бы стеной отдаляющее спетое от певшего, – так и эти рваные ночные чернила над Москвой, хотя – дальше – развитие опять вселяется в должный ритм и тональность: встреча с друзьями, остроты, застолье, вино; не без внутреннего усилия преодолеваешь ощущение твоей двухгодичной вычеркнутости из их, из вашей общей жизни, нет-нет, всё удачно, они тебя узнали, признали, не без приглядывания и ошупывания, но признали: «да, это он!» (хм-хм), и пора домой: что-то там наш Сарай?.. – и бравурные интонации сменяются лиричной кантиленой под размеренный перестук вагонных колес на фоне качающейся в тамбуре пелены сигаретного дыма; неровное дыхание бессонницы с вплетением в нее картинок из колоды, причем о присутствии в ней иных ты даже не подозревал, и вот *lento* родного вокзала, тихое пасмурное утро, свежий снег и даже мороз, как тогда, по уезжании, нет разве розового тона, но впору позаимствовать его у твоего прошлого или одолжить, на худой конец, у собственного солнца, однако – снова: «э-э...», неожиданная модуляция на тон с небольшим (да-да, именно эта слуховая неопределенность, затушеванность, внезапная туманная завеса, паполлома, на грани *Confutatis* и *Lacrimosa*) – не розовый тон, хотя внешне мало что меняется, напротив: ты узнаешь, да: вот улица, дома, вывески, липы, машины, – но то вдруг словно пропадает звук, то вдруг как бы исчезаешь ты сам, не то вот-вот исчезнет город... хотя вроде всё на месте, но что-то с пространством, будто оно стало как-ким-то зыбковатым, а свежий наст под ногами через мгновение вдруг с тихим шорохом ухнет вниз... арка, угол дома с суставчатой водосточной трубой, подъезд,

ступени, дверь, звонок, тихие лица в слезах, но они – не слышат, не слышат этого «пхш», они даже не подозревают об этом провале, быть может, неосознанно замечают его, но много после: «что-то с ним не то, не так». А ты носишь в груди этот пухлый шепотный комок, о котором не помнишь, но который ни с того ни с сего вдруг мешает дышать... пхш – падает с ветки снег, и также тихо и тайно распадается город, люди, связи, жизнь... Тогда бы и понять тебе, куда ты вернулся, тогда бы и прислушаться к этому *пхи*, тогда бы и принять зиму, но нет – даже сорокапятиградусная зима, наступившая по твоим возвращении, заморозившая растения и, кажется, самую жизнь, была не в состоянии исцелить твою слепоту, сыграла, скорее, противоположную роль, вновь воззвал к твоему солнцу, сбросившему с себя меховую оболочку, которая начала было подчинять его себе.

26

Я не люблю зиму, нет, не люблю, но я люблю стужу. Я люблю, когда солнце окаменеет сразу, становится хрупким как стекло, льдистой, звенящей в себе самой прозрачной сферой, со странной спектральной игрой преломленного света, дающей вдруг наполненный фиолетовый тон, с теплой полоской лазури по краю. Я люблю это задыханье, этот ожог гортани колючим, как бы игольчатым воздухом, люблю синеватые инейные кораллы древесных ветвей и их фантастические отпечатки на стеклах; люблю панически вспотевшее от испуга желтоватое небо, с блеклой монеткой солнца в угадываемой за кисеею дымки далекой и бледной голубизне беспредельного внешнего пространства, с его прекрасной, никем не населенной пустотой, лишенной иллюзии глубины: она не заинтересована в обмане, сколь бы то ни было невинном;

я люблю скукожившиеся, ссутулившиеся, замерзшие и гулкие дома; люблю отчетливые, белые, с легкой градацией бледных, едва тронутых цветом тонов, автомобильные шлейфы, их зависшую неподвижность; люблю приправленный ядом дымный полог над поселком и то, как он вжимается своими домиками в снег, и то, как странно слышать морозный хруст под собственной невесомой ногой; люблю мерцание тонких игл в фонарном свете; люблю белое жалобное выражение стынущих губ; живые хрусталики в уголках глаз и эти чужие хлопоты с мелкими самодельными хитростями, предпринимаемыми с тем, чтобы пройти до вожделенной двери и не замерзнуть, не ощутить боли; люблю эту боль и высокомерное, неукоснительное, категоричное ее устранение стужей; дымные колдцы ночей; шероховатые прикосновения сукна или драпа, уже огрубевших и подчинившихся стуже, к открытой коже уха или шеи; матовую скудость бледного наста и его деревянную упругость под ногами; свет ночника за напряжившимся, заиндевевшим оконным стеклом; голоса, разбивающиеся о воздух; черные вопросительные силуэты прохожих; все эти звонкие, но быстро гаснущие шорохи жизни в стужу; люблю лица призраков, затаившихся у окон; колокольный как бы игрушечный звон; резкие жалобы галок... Я хотел бы умереть в стужу, исчезнуть под уходящие звуки стеклянной гармоник, челесты, рассыпаться в эти мерцающие в воздухе иглы, чтобы ближе к ночи окутать ветви моего старого тополя над рекой и думать свои бесконечные думы, и мысль будет моим дыханием – холодным дыханием призрака, почившего на коралловых ветвях своего далекого-далекого прошлого, столь замерзшего, мертвого, хрупкого, что оно уже не прошлое, а вечно «теперешнее», позванивающее, мерцающее; и еще менее оно «мое», рассыпавшееся по снегу разноцветными блестками, меняющими свой цвет

по неведомо чьей призрачной прихоти, и я буду угадывать в их мгновенных узорах легкие прекрасные образы, весьма отдаленно напоминающие те, что мучат меня по ночам, эти крупницы моего замерзшего напрочь солнца, на которое никто уже больше не посягнет.

27

Именно! Оборвать телефон, заколотить двери, окна – те просто замуровать, и чтобы ни звука, никаких посягательств извне. Отдаться этому каллиграфическому путешествию целиком, без остатка. Но и это не спасет. Посягательства рукописи – как посягательства путешествия. Это только так кажется, что ты свободен перемещаться в пространстве и времени, но внутри перемещения ты по-прежнему несвободен. Садись в вагон – и твоей свободе приходит конец. Это маленькая тюрьма, из которой не выбраться, покуда не достигнешь места назначения. А попутчики-сокамерники – черт бы их побрал совсем! Можно, конечно, выйти на какой-нибудь затерянной в снегах станции, искушение велико, но и что же? Куда потом? Снова ощущение клетки, спровоцированное собственным бегством. Впрочем, что-то тут все-таки проглядывает обнадеживающее, если случайность личную сопоставить со случайностью среды, то есть отказать от прошлого, от будущего, от настоящего, перестать существовать как «я». Но это не для тебя. Добровольное упразднение своего «я» отвратительно. Можно, конечно, иметь в виду этот выход (утрату себя, самоутрату) в качестве выхода запасного, этакое черного хода, когда вновь завизжит телефон и в прихожей завозятся чьи-то тени. Существует порочный круг самой свободы – это всё равно, как свободно провозгласить само слово «свобода» и уже этим одним напрочь закобалить

себя, подпасть под его власть. Пространство вагона слишком ограничивает движения. Свобода неназываемая. Белый лист еще свободен, но стоит выставить на нем какую-нибудь закорючку, брякнуть кляксу – и на тебе! Можно совершенствоваться в чистописании, просто из любви к искусству, но вот проходит день, другой, третий – и перед тобой стопка исписанных листов, которые еще любишь, с которыми еще нежен, как с возлюбленной, однако в один прекрасный день понимаешь, что возлюбленной, собственно, никакой уже и нет, а есть жена в халате. То есть изволь продолжать. И каждый новый день начинаешь с того, что плетешься в свой угол, где ждут тебя исписанные и еще «свободные» листки, и совершаешь странную работу по уменьшению одной стопки и увеличению другой. Если бы это был только механический процесс, но любовь к искусству подразумевает... то-то и оно: «подразумевает»! Ни расстаться не можешь, ибо рукопись, как и возлюбленная, всё больше становится существом от тебя зависящим, ни безоговорочно принять этой зависимости как должное: это означало бы, что она никакая не возлюбленная, а что-то вроде компаньонки или приживалки, содержанки наконец, – но и это бы ничего, если бы не добровольная и совершенная утрата возлюбленной своей самостоятельности, то есть всякого смысла быть возлюбленной. Она это чувствует, конечно, требуя, в свою очередь, чтобы подчинился и зависел ты, и тут начинается глухая борьба под девизом «кто в доме хозяин», заведомо обреченная на общий проигрыш по очень простой причине, а именно: что никто не хозяин в доме, что хозяина в доме нет, или, в конце концов, что Никто в доме хозяин. Что же, будем надеяться, что это последнее положение заставит обоих нас призадуматься, обеспечив хотя бы временное равновесие и возможность каждому дудеть в свою дуду.

Прибавь к этому тот еще подвох, который можно назвать угасающей инерцией замысла, примат над ним текста, который, призванный к служению, вдруг узурпирует власть с таким непринужденным видом, что в ответ на сетования бывшего монарха, а теперь бедного и робкого просителя, лишь морщится и, признавая в глубине души обоснованность притязаний этого бедняка, отпускает его с миром, а не то и с августейшей своею подачкой, пеня на нежелание просителя мириться с существующим положением дел. Сам-то он полагает, что вполне овладел мастерством своего учителя и, подобно кинозвезде, снявшейся у лучших режиссеров, считает себя теперь в состоянии сварганить свою собственную фильму. Бог с ним! Мы же помчимся вдогонку за странствующим мудрецом; мы приведем его в дом, будем потчевать лучшими яствами, поить самыми славными винами; мы дадим ему на ночь наших лучших наложниц; мы подведем под его благословение наших детей; мы сделаем всё, чтобы печать неудачника на его восковом челе разгладилась, чтобы печальная, обреченная пустота его собачьих затравленных глаз наполнилась жизнью, засверкала гранями его веселого, предприимчивого, изобретательного, авантюрного ума; мы дадим ему чистые таблички и новые упругие трости для письма; мы воздвигнем из слоновой кости башню для его занятий; мы будем дорожить каждой его мыслью, рассматривая сквозь нее, как сквозь прозрачный изумруд, наш дольний мир, смакуя ее, как вино, причмокивая и со значением покачивая головами; мы назовем родственников, друзей и соседей, чтобы они могли приобщиться его поразительным мыслительным играм, и,

наконец, мы со слезами на глазах, в почтительном, священном молчании, будем глядеть на его тающую в дымке фигурку, на удаляющийся, растворяющийся в пространстве силуэт человека, добровольно принявшего схиму подвижничества своему внутреннему солнцу, замкнувшемуся в себе самом Духу; и мы благословим в сердце своем эту его обреченность на подвиг, со смирением и скорбным чувством прощания с тем в нас, чему служить мы уже не способны. Мы будем повторять его имя в наших молитвах, прося Всевышнего о помощи и благоволении схимнику; мы будем рассказывать о нем нашим детям и внукам, с затаенным и благоговейным вниманием следя за тем из них, что, погрузившись в клинопись, не заметит наступления вечера, забудет о красоте наших дев и, когда погаснет солнце, оторвет свой взор от табличек и обратит его к небу, и будет смотреть на него неподвижно, замороженный одному ему явленной тайной, пока кто-нибудь из домашних не уведет его, безучастного, под родительский кров от прохлады ночи, от звездного дождя, от явственного гула бессмертной жизни, услышанного юношей внутри себя.

Я гляжу на черты его, спящего, и перевожу взгляд на лицо его сестры, той, что прежде увела его в дом, но уснула много позднее, угадав в звездном взгляде юноши отзвук странного гула, который неявно, в смутных снах, подобно обвалу за сотни миль, порой странно волновал и ее. Ей не нужно расспрашивать брата, не нужно допытываться его мыслей и постигать его тревоги – она знает их, знает краем сознания, она знает всё этим своим краем сознания, поэтому она молчит. Ее самое тяготит



отсутствие голоса, и она много бы отдала, чтобы стать хоть немного поразговорчивей, раствориться в празднословной человеческой сутолоке, стать незаметной, не беспокоить их этой своей пугающей тишиной и уж во всяком случае отрешиться от невольного ложного превосходства, которое приписывают тебе другие, это молчание слыша и его, по-своему, принимая. Ах, какое тут превосходство! И если бы она была нема или хоть косноязычна, насколько все-таки это было бы легче, чем молчать – не из боязни обнаружить свою несведущность, а оттого, что говорить – о чем?? Ведь что бы ни говорил собеседник, он будет прав, даже если слова его ложь, и молчание есть защита от этой бесконечной человеческой правоты, от апологии в собственный адрес, коль скоро она сама по себе справедлива и человек имеет на нее право – право на правоту. Но это не только защита, молчание, это допущение своего собственного пути, но без апологетического истолкования его кому бы то ни было; это приоритет предзнания над эмпирикой, это ясновидение без бредовых фокусов телепатии и экстрасенсорики (самые эти слова – какой-то мусор), это явственное дыхание чуда, живущего с тобой рядом, вот сейчас, вот здесь, очень близко, которое можно спугнуть каким-нибудь суетным жестом, случайным словом, – не то чтобы с ним жалко было расстаться, а просто оно – чудо, и, как чудо, редко, единственно и так ранимо. И так переменчиво и прихотливо, что порой ощущаешь его соприсутствие как тиранию. Но не это важно; речь идет не о власти его или власти над ним; тут нет борьбы за первенство, но есть чистое терпение и... да, да, благосклонность – благосклонность *не смотря ни на что*. Вот это-то последнее обстоятельство, этот расхожий, в сущности, фразеологизм, и приот-

крывает завесу, за которой таится мужество столь безусловное, что принадлежность свойства мужской половине тут не то что сомнительна, но неверна в силу тихого, смиренного и непреклонного благородства, которое – именно в этой терпеливой молчаливой своей женственности – мужчинам неведомо... Юноша станет взрослым, преисполнится Духа и рано или поздно уйдет в пустыню по примеру своего предшественника, а эта спящая сейчас хрупкая девушка, этот безмятежный ангел с белой прозрачной кожей, ширококоротый ребенок с маленькими плечами и птичьей шеей, отвергнув в недалеком будущем самых блистательных, самых горячих и гордых наших юношей, пустится вслед за братом, едва достаивающим ее своим вниманием, дабы по-женски, по-сестрински скрасить своим присутствием болезненную пропасть между ним и миром, уберечь его от случайной гибели и разделить с ним чудесное пиршество Духа – замысловатые легкие игры с тем, чего никогда не существовало, но что было всегда.

30

А тирания Текста – всё равно что тирания зимы, в которую ты опущен как в полынью. Как ни странно, при всей своей оформленности, плотскости, Текст имеет меньшее отношение к Каллиграфии, нежели принявший схиму подвижник, Замысел, к которому Каллиграфия льнет, как следовавшая за братом в пустыню очарованная сестра. Разумеется, это разные вещи: замыслить царство и соблюсти его. На Тексте лежит немалая ответственность, и можно понять его досаду в адрес незнамо как прорвавшихся романтических интонаций. Уж кому-кому, а ему, как зрелому мужу, наделенному... и проч. и

проч. – романтизм не подобает вовсе. Текст пытается вернуться к написанному, пристально вглядеться в содеянное, что-то подправить, подретушировать, сделать поприличней, поудобоваримей, но все эти попытки только раздражают его своей бесплодностью. Но ночам, возлежа на царском ложе, он подолгу не может уснуть: у него бессонница, сдобренная неврастенией, житейские мечтания вперемежку с несуществующими насекомыми, ползающими по его телу; он вообще стал как-то подозрительно чистоплотен, он благодарит Судьбу, что в силу своего положения освобожден от такого негигиенического ритуала, как рукопожатие; принимая сограждан, он с каким-то угрюмым интересом разглядывает, насколько чиста их кожа; жирное пятно на платье подданных, заусеницы, перхоть, темная точка в уголке глаза вызывают у него тяжкую мигрень и приступ *taedium vitae*; он самый рьяный ненавистник Сарая, как это, впрочем, и подобает тирану, но при этом, несомненно, желает своему городу только добра, и все его действия в этом отношении безукоризненны; о да, он примерный гражданин, он законопослушен, он в положенном месте переходит улицу, он даже сдает экзамен на водительские права, он ведет свой автомобиль с отменной осторожностью, и, несмотря на гололед и небольшой опыт в этом весьма демократическом занятии, он еще никого не сбил, не задел ни одной машины, которые, кстати сказать, с понятным почтением и предупредительностью, его раздражающей, уступают ему дорогу; такая его своеобразная черта, как *мизантропический гуманизм*, уже внесена летописцами в анналы, поэтому нет ничего удивительного в том, что в один прекрасный день он запросто заявляется к тебе домой, без предупреждения и в самое неподходящее время

(когда среди бела дня ты валяешься в постели после собственной бессонницы и неврастении), невнимательно слушает спиной твой одевающийся голос, с инспекторским тщанием проверяет, насколько свежо постельное белье; вдруг ложится в твою постель в сапогах и верхнем платье, протягивает руку к журнальному столику и извлекает из-за книжной кипки пакетик с марципанами; в ответ на его вопросительный взгляд ты отвечаешь, что это гостинец для ребенка, но тиран запускает в пакетик свою водянистую руку, с речными камешками в перстнях, и, глядя тебе в глаза, начинает эти марципаны поедать. Негодяй, бормочешь ты, скотина, дерьмо собачье... а он всё смотрит тебе в глаза, будто не слышит, и чавкая жует.

31

Покушамши, похлопав ладошку о ладошку, он выбирается из твоей постели и направляется в угол. Перебирает листы в исписанной стопке, хмыкает: «Ну-ну, всё пишешь...» – и раздражается комплиментом: «Знаешь, какое мое самое любимое местечко? Это где ты про Сарай наш и про аборигенов... Где это у тебя? Вот-вот... Дым отечества... Однако с каллиграфией у тебя ба-а-альшие нелады – ничего не разберешь... М-н-да-с... А это что же? – указывает он на верхний лист. – Ты уже и этот мой визит успел обессмертить?» – «Это не я, – отвечаю, – это вы... ты...» – «Вот как! Гм-гм... Ну-ну, пиши-пиши... Но про Сарай у тебя того... забористо вышло... м-н-да-с... И то: как подумаешь, в каком дерьме, так сказать, обретаемся...»

Наконец мерзавец уходит. Ты садишься к столу и начинаешь дрыгать пером так, что брызжут чернила: «...не Сарай, нет, это дохлая выдумка, нет такого города

на свете, то есть, может, и есть, но его не нужно отождествлять с этим городом, это какое-то недоразумение, недочеты текста, и я тут ответственности не несу. Уж пусть лучше будут Томы, даром что родина и другой уже не будет, не будет...»

На худой конец, можно обойтись компромиссом, создать этикие йокнапатофические Томасары, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан... что-то среднее, безвредное, удовлетворительное, симбиотическое, готтентотски-гугенотское, двусторонне-медальное, как два окна, сквозь которые я гляжу на зиму: одно в моем углу, с видом на Главную улицу, с вечным четырехэтажным домом напротив, воем троллейбусов, хлопаньем автомобильных дверей, выхлопными газами, громкоговорителем по праздникам, которые никакие и не праздники, а что-то вроде дней скорби; флагами, воплями пьяниц и дерущихся подростков, хмельными песнями баб, грохотом ограбляемой витрины в третьем часу ночи (звоню в полицию, но она опоздает, зря звоню...) и т.д. и т.п., – и есть другое окно, на лестнице, куда выхожу курить, с видом во двор, окно, в котором вижу березы, выросшие до неба, тихий снег и звезды, слышу звуки пианино и скрипки (снизу), флейты (откуда-то со спины, так и не смог определить дверь); да, есть другое окно, у которого когда-то стоял Замыслитель, варя со своей дьявольской свитой какой-то напиток в красном котле, поил меня этим холодным, студенистым зельем и показывал лучистую дорогу в небе, уводившую к луне, и был он в колпаке звездочета, с длинным крючковатым носом сказочного злодея, и если мне было страшно, то это был страх за родных, спящих неподалеку; не знаю, почему он избрал меня, не знаю также, зачем он прилетел в город и сел на это «другое» окно, – быть может, то был знак, но какой знак? Что он предсказывал мне?

Какую новую холодную луну? Какое ночное солнце? – будто бы хотел взять меня с собой, но почему-то не настаивал, когда я объяснил ему, что там, за стеной, совсем рядом, спят мои близкие и что когда они проснутся, а меня не будет... Но он не настаивал, он был бесстрастен, возможно, у него не было вообще никакой цели, а это была своего рода игра, и ему казалось, что мое участие в ней было бы уместно, да, просто игра, которой ведь и не нужно воплощения, не нужно текста, не нужно заведомого утверждения или отрицания по поводу твоей обыденной жизни, как у цыганки-гадалки, которая, возвращая тебе Бог весть как оказавшееся в ее грязной маленькой ладошке твое золотое кольцо, сказала с отсутствующим видом: «Любишь, когда красиво, молодой...»

32

«Да, – отвечаешь ты тихо, будто цыганкина фраза пришла к тебе изнутри тебя самого, – люблю», – и берешь кольцо, но рукой уже равнодушной, рукой, у которой уже иное на уме, рукой Замыслителя, хотя я далеко не уверен, что он уже тогда был и замышлял, пожалуй – был, да, но слишком много лет должно было пройти, чтобы он стал независим от царства, придуманного им. Начинаются годы учения, они же – познания, также лишенные настоящего понимания зимы. Странно: когда это понимание всё же пришло, ты простила ей, зиме; больше того, оно преисполнило тебя каким-то торжеством замерзания – улавливается шепот твоего благодарения. Солнце, умирая, погасая, прощая мир, который оно дарило теплом в течение недолгого дня, являет в своих последних лучах благодарность в чистом виде, высокую и незаинтересованную; поэтому столь пристально, с холодной страстью

в глазах ты следишь за его умиранием – умиранием, в общем-то, заурядного зимнего дня, чья будничная обыденность скрашена присутствием маленького человеческого зверечка, близорукого и доброго... – и Каллиграфия тут опять не справляется, оставляя странные, полупрозрачные, с голубоватым отсветом поплывших чернил, пятна на листе. Вот и прекрасно, вероятно, это один из тех случаев, когда словесная ложь – при других обстоятельствах если и не явная, то полная смысла, как «другое» окно, – не то что коробит, но слова тут являются какие-то куцые, с мурашками наготы на коже, пряча свое смущение, как новобранцы во время медицинского осмотра, впрочем, и это сравнение страдает неминуемой фигурой верховного жреца, главврача, который, как всё неминуемое и верховное, мне почему-то глубоко неприятен... И странно, до чего медлителен был закат зимнего солнца: остывающая градация желтого цвета на западе, над добротным чернением древесных стволов и ветвей, – этакая лимонная ломота янтарного яда, насыщенного, подсвеченного изнутри, с постепенным погружением в холодную, слепую лиловость и переходом в глухую охру, в которой вдруг окажется что-то уж слишком много водянистого кобальта; зато – такой устойчивый малиновый отсвет на древесных стволах, если смотришь на восток, с воздушными, чистыми, размытыми, малиновыми же, светящимися – но едва-едва, мерцающими акварельными ветвями в вышине, – и это – дубовые деревья?.. ах, какая легкость, какое благородство наступающей тишины: вот сейчас, сейчас, мгновение... уже совсем стемнело, но бледная тишина акварели будто ненарушима, не в пример сливающейся в чернильную массу клинописи на западе.

...предчувствие, что Каллиграфии не нужно графики, что ей нужна тихая незаметность – белое поле, безупречно белое, возможность для себя самой и только возможность. Это сродни молчанию девы, сестры, готовой слушать ушедшего в пустыню, потому как если и она попытается заговорить, сложить в слова эти странные игры, – то что же получится? Игр не будет, пустыня исчезнет, некуда станет уходить из города, где Текст вершит свою темную тиранию. В каком-то смысле стремление Каллиграфии к белизне листа сродни нашей зимней жизни – так постигается глубочайший смысл благодати, лежащей, как манна, на этой холодной земле. Мне кажется, из этого сродства и понимания того, что не нужно внешнего исхода, другой, летней, отчизны (ведь она есть ты сам со своим солнцем, может быть не вовсе оледеневшим), – и возникла благодарность, которую впору написать с прописной буквы, на немецкий манер, но нет – буква остается строчной. (Попутное подозрение, что в нашем зимнем языке как бы и не существует слов с прописной буквы, разве что имя, и Каллиграфия тут, имея в виду ее стратегическую мечту о белом поле, только выигрывает). Может быть, это переживание благодарности и было твоей вершиной, твоей джомолунгмой, и теперь, когда ты спустился в долину, вспоминаешь о ней с сугубой бережностью.

И эту оставленную мной джомолунгму мне жаль. Жаль, что она осталась в прошлом, жаль, что жизнь на этом не кончилась, а велик соблазн увенчать ее вершиной молитвенного благодарения, когда время исчерпывается Богом совершенно и ничего не нужно. Жаль этого вершинного бескорыстия, даже если это была не вершина, а



яма (в конце концов, как посмотреть), да, колодец, из которого так ясно видны звезды, в котором так отчетливо эхо молитвы, устремленной к Тому, Кто над ними. Может быть, эта вершина-яма и была настоящим прозрением, исключаящим обыденную трезвость касательно ориентации в действительности, ибо ориентир – единственен и слишком удален от нее. Жаль ускользнувшего понимания прошлого (твоего собственного и твоей страны) как благодати, вопреки окружающему варварству и твоей невольничьей (кощевой) погруженности в него. Жаль смиренного знания, что жизнь твоя – ссылка и что ссылка эта суждена тебе свыше; жаль той безнадежности ссыльного, что преисполняла тебя Смыслом, чья безупречность в отношении тебя заключалась в Его отречениях, что лишь доказывало, что Он тебя видел, тебя помнил и тебя вел. Жаль этих бродячих ночей, неприкаянного скитальчества из дома в дом, вечно неудовлетворенного, впрочем оправданного в момент ухода, расставания, пусть ненадолго, когда вот – снова ночь, и холод, и звезды, снова ты сам и цели для тебя, кроме той, о которой ты знаешь и которая недостижима, не существует. Жаль той признательности друзьям и недругам, возлюбленным и случайным подругам, что дарили тебя своим вниманием, даже если это внимание подразумевало (часто без их ведома) лишить тебя возможности признательность эту переживать. Не потому ли тот год, единственный год действительной ссылки, не отпускает тебя, с каждым новым днем (лучше сказать: ночью) разрастаясь в твоей памяти, и маленький безвестный поселок на севере России, с которым ты, как и всякий ссыльный, так и не сумел внутренне срастись, ощущается как истинно твое достояние (пусть в зеркале при этом стоит некто новый, кюхельберкерный, у которого мало общего с потерявшим голову

юношей), достояние, также имеющее привкус легендарности и мифологии.

Тасуется новая колода, которой не то чтобы нельзя пренебречь... но в силу легендарности и мифологии, в силу того, что «не мемуар», не *curriculum vitae*, оставим... Быть может, до другого раза, потому как отказаться во все не хватает духу: слишком благодарный материал. И потом, велико искушение проговориться, то есть срабатывает упомянутое вначале воплощенческое корыстолюбие. В самом деле, придать иным из картинок этой новой колоды некую протяженность, фотографический отпечаток поползет змеей киноленты, в проекторе замерцает лампочка, и на белой простыне, на белом этом поле... и т.д. Да, искушение велико. Но Каллиграфия сама побуждает тебя к иному, к тем медленным мыслям, что томят по утрам. Навряд ли, дорогая (это я ей), я сумею их оформить, ведь это всё равно что пересказывать сны, которым невольно придашь характер законченности самим фактом пересказа и тем самым тягчайшим образом погрешишь против правды. Еще имеет какой-то смысл увидеть в утреннем бредущем зеркале глаза, которые в силу привычки считаешь своими. Вот-вот, важна тут именно неокончателность достоверности, состояние как таковое, а не самые мысли, тем более что они лишены какой бы то ни было афористичности. (Попутное соображение, что и думаем-то мы мысли, присущие состоянию, а сами они, может быть, суть лишь его производные, ибо заведомы...) Назвав их медленными, я не столько намереваюсь подчеркнуть некую расслабленность, в состоянии которой только и возможно их думать, сколько отсутствие

всяких внешних, прежде всего слуховых, помех. Вероятно – так; я замечал, что чужой интерьер не только не мешает им, но часто, напротив, им аккомпанирует, при условии, что он достаточно неназойлив. Но главное – никаких будильников, телефонов, звонящих дверей, и конечно, чтобы никого не было рядом. И чтобы никуда не нужно было идти. Так, помаленьку-потихоньку передвигаешься внутри коробочки, принимаешь утреннюю ванну, готовишь себе чай, куришь, одеваешься. Это состояние можно назвать подготовкой к дневной жизни, если бы не то обстоятельство, что уже давно полдень, и если бы не то соображение, что эти подготовительные состояния для тебя ценны в гораздо большей степени, нежели собственно «дневная жизнь». Я говорю не о комфорте, хотя какое-то необходимое количество его играет тут свою роль, не о праздности и беззаботности, напротив – думать эти медленные мысли стоит большого внутреннего труда, сосредоточенности, хотя и носящей – как ни парадоксально – характер рассеянности; порой это просто мучение, особенно когда вмешиваются упомянутые три дамы или даже пусть лишь одна из них, – но без этого труда, без этого внутреннего медленного ада я не представляю себе хоть сколько-нибудь сносного существования. Есть в этом нечто английское... сибаритство некое... Рюмка белого (не сухого) вина была бы тут кстати. В конечном счете, это тоже своего рода письмо, своя каллиграфия – медленно, узел за узлом распутываешь мыслительный клубок, так что ты меня поймешь... – Да, я понимаю. Я и сама... – Ну, вот и прекрасно! Наконец-то мы пришли к какому никакому согласию. Самое время распрощаться... – Что?.. Сейчас?.. Уже?? – Подожди, почему же ты плачешь? Всё не так уж и грустно, как тебе кажется... – Ах, нет-нет, это пустяки, это я совсем по

другому поводу...» – Пора уйти, а смотреть на женские слезы – увольте, лучше удавиться...

34,5

И вот – *уезжание*. Состояние прощания с вечным домом напротив; он начинает уходить много раньше, чем ты ступишь на подножку поезда или на самолетную лесенку; ты еще видишь в его окнах двух братьев, которые теперь выросли и живут со своими женами в разных комнатах; ту женщину, что жгла свет ночь напролет, соревнуясь с фонарщиком и не давая тебе покоя своей таинственной рукописью... впрочем, теперь она вышла замуж, выгоняет битюга-мужа курить на балкон и носится с его миниатюрной копией на руках как с писаной торбой, – обычная история, так что и тайны в том ее непогашенном окне будто и не было, теперь оно гаснет даже раньше других... но это некрасиво – подглядывать за чужой жизнью, и завеса разлуки с этими полужнакомыми тенями опускается, хотя сами они еще мелькают в окнах, вроде тех странных, мутноватых изображений в зеркале, твое сходство с которыми представляется весьма сомнительным. Сам «угол», который ты делил с Каллиграфией (то есть еще делишь), превращается в подобие спичечного коробка; ты одновременно в нем – вот стоишь у окна и смотришь на фонари и снег – и уже далеко, так что мнимость «угла» усугубляется, подпадая под компетенцию Памяти, Совести, Судьбы, легендарно-мифологических; во всяком случае, сам ты как бы и не имеешь уже к нему (углу) отношения. Если бы какие-то надежды питали твое уезжание, но ничего подобного ты уже давно не испытываешь, зная, что в дальнейшем ждет тебя труд, бессонница, одиночество и горе, или же нечто такое, о

чем намекнула тебе прекрасная, тихая, покойная глубина, пережитая юношей с разбитой головой, и хорошо, что выбирать тут тебе не приходится. Но больше всего мне жаль расставаться с тобой, молчаливая моя Каллиграфия; я не настолько самоуверен, чтобы надеяться, будто ты останешься и впредь верна мне, и не настолько плохо знаю себя, чтобы клясться в собственной верности, но... вряд ли схимник сумеет сбросить с себя ношу его схимы – это не в его власти. Вот и всё. Ты свободна.

**БАШНЯ**

*Виктору Бритвину,  
автору «Незнакомых игр»*

I

Ты ведь знаешь, у меня не было намерения говорить Наместнику о себе. Та жизнь, которой мы жили, – я вспоминаю ее с ощущением вязкой, липкой нечистоты. Мне даже кажется, что те, кто тогда окружал нас, были темнее ликом. Это как на византийских иконах: одно изображение похоже на другое тем более, что лиц не разобирать под пятном потемневшей от времени олифы. Одна забота, сродни боязни, была запечатлена на этих лицах – боязни за свою жизнь, за жизнь детей. Хотя чего им было бояться? Чего боялся я сам, когда жил с ними? Что навсегда останусь в этой затхлой комнате, с запахами испарений от высыхающего белья, приготовляемой пищи, потной суетливости вокруг еды, вокруг детей, будто такая жизнь – единственно возможный способ существования. Сейчас, когда я вспоминаю эти лица, мне не жаль их; что-то иное волнует меня теперь – странное ощущение благодарной радости, безотносительно к заботам, скорби и суете этих людей, радости по поводу самого лишь факта их бытия. Ты, быть может, заметишь, что это говорит мой обычный эгоизм; я не хочу спорить. Но радость я чувствую, как когда гляжу на древние иконы, на которых так неразборчивы черты под коричневой олифой времени, да, радость и благодарность, что эти иконы есть и что я могу на них смотреть. Среди тех лиц я вижу и собственное свое лицо, тоже темное и скорбное, с плохо различимыми чертами, на фоне искусственного желтого света, царившего над чадом этой большой комнаты, где мы тогда жили вместе с другими людьми. Этот тускло-желтый отблеск был на всем: на тяжелой дубовой двери; на волосах девочки, что провожала меня на службу в час, когда кругом царил полумрак; на каменной ограде, мимо которой я шел, держа девочку за руку, – она молчала, молчала всегда, или я не помню ее слов. Желтый отсвет



был даже на голых деревьях, чьи ветви, как и лица людей, покрыты теперь коричневым слоем. Я не помню, кто была эта девочка, и лица ее я не помню, как не помню и твоего. Я вообще не помню тебя в комнате с этим желтым светом, хотя и знаю: это ты встречала меня ночью, когда я возвращался, усталый до изнеможения, помогала мне снять пальто, стряхивала со шляпы влагу прямо на пол, кормила меня за вылощенным до блеска деревянным столом и будила, если я вдруг засыпал за едой. Твое лицо терялось в этом множестве лиц, ни про одно из которых я не могу сказать, кому оно принадлежит, даже лицо той девочки.

Не о себе пришел я говорить с Наместником. Теперь меня удивляет, как изменялся свет, предметы, лица в Башне. Там всё было отдельным, характерным, завершенным. Когда я хочу вспомнить твое лицо, я вспоминаю Башню. И Ави памятен мне больше в Башне: небольшого роста, сутуловатый, с широкими плечами и ясным, чуть утомленным лицом, на котором выражение обычной сосредоточенности порой сменялось беглой полуулыбкой, с искрой мальчишеской бесшабашности в прочно посаженных глазах. Где он жил тогда? Здесь же, в Архиве, или же с нами, в огромной желтой комнате? Я не помню. Зато помню живо, как однажды мы сидели у него в Башне, вдруг отворилась дверь, и ты внесла рукопись Кваленштейна, in-folio, с графическими иллюстрациями, своего рода иероглифами, а потом мы читали эту книгу вдвоем, вслух, делясь своими догадками, а ты сидела поодаль и поправляла нас, если Ави или мне изменяло терпение и мы опережали повествование, устремляясь к результату скорее, чем вел нас к нему Кваленштейн.

Я и не мечтал о том, чтобы служить в Башне. Я был лишен зависти к кому бы то ни было; если желтый свет и угнетал меня, я всё же готов был прожить жизнь в его сфере, вместе с прочими людьми, которые были не хуже

и не лучше меня. И когда ты устроила мне эту встречу с Князем, я был только тем, кем я был в этом желтом свете, и обращать на себя его внимание просто не пришло бы мне в голову. Мое продвижение по службе зависело лишь от времени и моих собственных поступков (или, скорее, не-поступков). Что говорить, мне конечно же хотелось бы, чтобы ты жила лучше, чем тогда со мной, но я отдавал себе отчет в том, на что я годен, звезд с неба не хватал и никого не обманывал – ни тебя, ни людей, среди которых мы жили, ни – что, пожалуй, самое ценное – самого себя.

В ожидании приема ты сидела на одном из тяжелых черных стульев, с прекрасными резными спинками, холодных и удобных, рядом со мной, или же выходила перекинуться словом с кем-нибудь из твоих многочисленных знакомых. На тебе было свободное темно-зеленое платье, под малахит, с черными прожилками на ткани, и глухим воротом, неброское и изящное, а волосы были убраны так, что на лицо падала легкая тень, подчеркивавшая матовый голубоватый оттенок на коже. Я перебирал в уме, что скажу Князю по поводу недавней его речи в Южном Приделе Башни. Я не собирался ему льстить, предаваться церемониальным уверениям в верноподданстве; у меня не было никакой корысти, мне хотелось просто побеседовать с Князем, заглянуть ему в глаза. Наблюдая за ним и Княгиней, которые находились в другом конце зала, по ту сторону длинного мраморного стола, я видел, как она дважды подзывала тебя и с улыбкой доверительности что-то тебе поручала, и думал о том, какие они, в сущности, обычные люди, Князь и Княгиня, как просто он говорит с ней тоном, в котором с одинаковым успехом можно было уловить нотки озабоченности и близости; помню, мне пришло в голову: как было бы просто и славно встречаться на досуге (ведь Княгиня приходилась тебе теткой) и просто беседовать, о чем угодно: о

книгах и смерти, о бедах и нравах – обо всем, о чем говорят свободные люди в свободной беседе. Продолжая мечтать, я поднялся со стула, прошелся по приемной, поглядел в окно, увидел Ави, садившегося в черную служебную карету, помахал ему рукой, но – то ли он очень спешил, то ли попросту не заметил меня – он не ответил. Я не придал этому значения и отошел от окна. В проеме дверей я увидел тебя, шедшую ко мне сквозь анфиладу комнат. В руках у тебя была не то коробка, не то книга, в черно-красном бархатном убранстве. Тут Наместник назвал мое имя. Ты улыбнулась ему, приблизилась к Княгине, кивнула мне и, положив коробку перед Княгиней, вышла.

– Что у вас за дело? – взяв меня под руку, спросил Наместник. – Мне известно, – продолжал он, не давая мне времени ответить, – что вы живете с племянницей Княгини. Слышно также, будто вы подаете надежды. Вы бы хотели, вероятно, получить кафедру?

Я не нашелся, что ответить. Не потому, что начатый Князем разговор противоречил моим ожиданиям, и не потому, что у меня, собственно, не было к нему никакого дела (разве что имело смысл поговорить о речевых ошибках), но мечтать о кафедре... Помню, меня поразила легкий акцент в речи моего собеседника, едва уловимый; речь Князя была вполне литературна, с правильными ударениями и интонациями, как если бы это говорил иностранец, в совершенстве изучивший язык, но это не была речь, которой овладеваешь с детства, постепенно, когда отдельные слова и их появление в твоём лексиконе заключают в себе тайну знакомства с ними, хотя об этом потом и не помнишь. В словах Князя не было этой тайны.

– Так что же? – переспросил он и, вновь не дожидаясь ответа, продолжал:

– Разумеется, кафедра – это не так сложно, профессионально вы вполне готовы к деятельности на этом по-

прище, но у меня нет уверенности, что с вами не повторится того, что случилось, если мне не изменяет память, в бытность вашу студентом.

– Позвольте, ваше сиятельство... – попытался я вставить слово, но Князь подтолкнул меня к столу и сел напротив.

– Вас уволили по неблагонадежности, почему вы не хотите признаться?

– Этим ли одним обязан я интересу вашего сиятельства к своей персоне?

– Ах, ах, зачем эти формулы! Будемте откровенны! – воскликнул мой собеседник. Он продолжал говорить, не глядя мне в глаза, а я с удивлением разглядывал его голый череп, чистый и белый, с тщательно промытыми порами на коже, и ощущение недоверности, охватившее меня при первых его словах, усилилось, как будто передо мной сидел механизм, кукла, муляж. Притом человек этот отнюдь не казался мне лишенным индивидуальности. Напротив, посадка головы, манера выдыхать, растопыривая ноздри, слепливать губы, чуть выпячивая их вперед, известное всему миру беспокойство рук с характерной жестикуляцией полных блестящих пальцев – всё это было, пожалуй, даже слишком индивидуально, и за подтверждением не нужно было далеко ходить: многие из башенного люда переняли и эту неумеренно-неловкую жестикуляцию, и походку, и даже манеру выпячивать губы. Индивидуальность была налицо, но что-то погибшее, закосневшее было в этой белой коже черепа, в бегающих пальцах, в том, как Наместник говорил: будто и со мной, но одновременно и не со мной, а как бы с целой категорией людей мне подобных, да ему, кажется, и не хотелось говорить вовсе, и если он делал это, то словно по обязанности, спеша закончить одно дело, чтобы затем заняться другими, плюс к тому – выражение значительности нравственного урока, преподанного им всей той категории, к

которой я был отнесен. И это оскорбляло меня, как всякий подлог, особенно когда Наместник стал меня попросту отчитывать, как мальчишку.

– Это же безответственно, наконец! – заключил он, подтвердив свою разочарованность во мне вдруг открывшейся ладонью, и выпятил губы, как бы давая понять, что не находит слов, чтобы выразить свое отношение к такому неподобающему легкомыслию.

– Но вам должно быть известно... – начал я, но Наместник вдруг поднялся и пошел своей подпрыгивающей походкой к двери.

Ничего не понимая, я глядел ему вслед, и вдруг обнаружил себя окруженным чиновниками в черных костюмах, с видом укоризны и даже негодования покачивавшими головами.

– Вам-то что? – крикнул я им. – В чем вы меня можете упрекнуть?

– В чем?! – завизжал один из них, с напояженными черными волосами до плеч. – А это вот что?! – Он повернулся к шкафам, охватывавшим по периметру всю комнату, выдвинул один из тысячи ящичков, выхватил из нее какую-то папку и затряс ею. – А эта, с позволения сказать, оргия, учиненная вашими воспитанниками у рождественской елки? А распотрошенные мешочки с подарками Наместника? А сорванное почти правительственное мероприятие?! – дребезжал он.

– Так это же не мои воспитанники! – крикнул я вне себя. – Да и при чем тут это!..

– А при том, а при том... Вы у них читаете? Читаете! Поэтому!

Мне вдруг стало стыдно перед самим собой, что я словно оправдываюсь перед этими манекенами; я поднялся, силясь не глядеть на липнувшие к глазам пятна лиц в черных подсвечниках комбинезонов, желая лишь одного: отыскать поскорее тебя и навсегда уйти отсюда. Но

тебя не было ни в соседней комнате, ни в следующей за ней; нигде тебя не было. Я поднимался и спускался по просторным парадным и винтовым черным лестницам, расталкивая плечами чиновников и просителей, искал тебя в огромном зале, полном людей, стоявших кучками и замороженно смотревших на сцену; искал на сцене, за сценой, в ресторане, в кухне, в кабинетах, но тебя нигде не было. И, в страхе, что в наказание за мою несуществующую вину тебя отняли у меня, в страхе больше никогда тебя не увидеть, я подбежал к кому-то из курьеров, умоляя его проводить меня к выходу, поскольку совершенно не ориентировался во всех этих галереях, залах и переходах. Тот не сразу согласился, и, лишь когда я сунул ему в руки деньги, вывел меня вон. Я помчался к дому с большой желтой комнатой, и помню, что едва не рухнул в беспамятстве от счастья, когда ты в обычном домашнем наряде отворила мне дверь...

Я не понимаю, как это вышло, что меня отпустили к Кваленштейну. Слишком хорошо было известно, что Наместник лично просматривает документы на выезд; а я не только никаких документов не оформлял, не писал прошений и ходатайств, но, напротив, с какой-то отчаянной безнадежностью вернулся к своей работе в Гимназии, ожидая, что в любой день и час мне могут сообщить, что меня уволили по причине профессиональной непригодности или какой-нибудь иной, и тогда я получу полнейшую свободу умереть где-нибудь на задворках жизни, в полном одиночестве, ведь с утратой возможности служить я терял и тебя – это слишком было очевидно, хотя, скажи я тебе тогда об этом, ты почувствовала бы себя жестоко оскорбленной. Я подозреваю, что это была его, Наместника, инициатива – отправить меня к Кваленштейну, лишним свидетельством чему были надломленные печати на конвертах адресованных мне писем, кото-

рые получал я не на почте, как обычно, а в Башне, в Отделении по внутренним делам внешних сношений, или как там у них это тогда называлось. Я упрямылся, ты помнишь, я говорил тебе, что меня искушают, что меня хотят «включить», но ты лишь успокаивающе улыбалась или отвечала, что там-то, у Кваленштейна, я и буду свободен включаться или не включаться, что мой отказ был бы равнозначен погребению себя заживо, духовному самоубийству, ведь я лишался, и уже окончательно, раз и навсегда, единственной возможности осуществить свое призвание (о каком призвании ты говорила?), что кафедра, ожидавшая меня по возвращении, – это еще и возможность обеспечить нашего неродившегося маленького, не говоря уже о том, что мы покинем наконец эту желтую комнату, избавимся от чада, от ига заботы и страха, от лицемерия его в людях, нас окружавших тогда...

Зачем я смалодушничал? Зачем поверил тебе? Ведь до самого последнего часа – часа нашего расставания – я знал, что иду на компромисс, соглашаясь на поездку. Ибо это согласие, эта попытка освободиться и означала как раз лишение свободы для внутреннего моего существа, а значит, и утрату тебя. Боже, как поздно я понял это!..

## II

Время, проведенное мной у Кваленштейна, миновало как один день. Больше всего, разумеется, мне был интересен сам старик. Мне и теперь не понять, как это ему удалось: порвать все личные – зависимые – отношения с миром, как удалось ему сделать свой небольшой дом на берегу моря суверенным по отношению к государствам и государственным объединениям; государством был он сам, Кваленштейн, этот высокий старец с худым лицом схимника, аскета, лучезарным лицом (другого эпитета я не могу подобрать), освещавшим собою всё, на что

бы ни смотрели его почти белые, выцветшие глаза, в полукружиях темных бровей на тихом лице, с птичьим горбатым тонким носом и, несколько резковатых очертаний, тоже почти белыми полосками губ, размыкавшихся редко, не напряженно сжатых, как у героев, а будто готовых приоткрыться в любой миг, как у поэтов. При всем том это не был человек, к которому вполне были бы приложимы слова «ученый муж». Более всего в его облике поражали меня черты, общие с Наместником: та же уверенность, что каждое слово будет услышано, подхвачено; тот же неутолимый интерес к политике, к текущей истории; регулярные выступления в прессе, нечастые и весьма взвешенные, но всегда своевременные, конструктивные, веские. Homo actualis. Человек, построивший государство с единственным подданным – им самим, сохранивший беспримерную независимость даже тогда, когда его пытались лишить и лишали этой государственной автономности; книжник и музыкант, садовник и строитель, педагог и врачеватель... Казалось, на свете не существует человека более счастливого, чем он, но лишь немногим из его фамулусов были вняты (да и были ли?) внезапные кризисы его налаженного быта, периоды глухой тоски и изнуряющей душевной неприкаянности.

Однажды, в белесой ночи, под затянутым тучами небом, ушел я на берег, чтобы побыть наедине с моим прошлым, вспомнить тебя и город, в котором мы жили и куда мне предстояло вернуться, большую комнату с низким потолком и желтым светом, которая незримо сопровождала меня в этих странствиях на чужбине у Кваленштейна, – я носил ее в себе, как дорогой груз, как клад и кладь, оттягивавшую мои плечи, и обуза эта была сладка... Снег падал на море, и неуклюжие мглистые шапки его качались на волнах; снег падал на камни и таял, стекая по выщерблинам блестящими слезными



струйками; ночь была глухо-спокойна, и тяжесть ее усиливалась каким-то еще не рассеявшимся полусветом; черные волны с тихим всхлипом напоздали на камни, и всё располагало к тоске, к болезненно-сладкой погруженности в отчизну, в прошлое, и оно представлялось радужным, почти радостным – слепком счастья, которое счастьем быть не могло. Бесприютность, затерянность в огромном, чужом, непостижимом мире, эти волны и снег, эта мокрядь и ночь были тем мрачным фоном, на котором тем более чисто и светло проступала моя боль, чувство утраты, скуки... И, оглядывая этот простор бездомья, вбирая его в себя, как поглощали волны падавший на них снег, вдруг взгляд мой различил в белесой этой мгле далекую знакомую фигуру в белом плаще. Как призрак, брел Кваленштейн по едва угадываемой под снегом тропе, а я последовал за ним – не из любопытства, а, скорее, влекомый известной тягой к чужому человеческому теплу, но мне жаль было расставаться с тобой, по ком сучал я, глядя на снег и темное море, и я шел поодаль, как выбившийся из сил юноша бредет за своим умудренным жизнью проводником, в детской уверенности, что вождь знает, куда они держат путь, и его, юноши, дело – не терять из виду силуэт впереди, – но, следуя за едва освещенной белой тенью, я вдруг обнаружил, что иду один, что впереди никого нет. Я ускорил шаг, взобрался на вершину скалы и, не найдя никого вокруг себя, глянул вниз. Кваленштейн лежал на оснеженном камне, выглядывавшим из воды; я не различил бы далеко внизу светлый хитон на убеленном снегом камне, если бы не душераздирающий крик, огласивший вдруг этот ночной и влажный холод. Крик этот был страшен: столько в нем было нечеловеческой, сверхчеловеческой вины и бессилия вину эту избыть, что дух мой смутился; едва придя в себя, я повернулся уйти, чтобы не быть свидетелем такого страдания, но в последний момент увидел вдруг, как по снегу и

воде движется к островку другая белая фигура, и это тоже была фигура Кваленштейна. Крик повторился, и когда фигура двойника склонилась над распластанным на снегу телом, я, будучи не в силах вынести вида этой двуединой пьеты, в ужасе бежал, сбивая ноги о камни и падая...

В ту ночь мне был преподан самый трудный урок из всех, что вынес я за время общения с Учителем, – то был урок существования совершенно иной действительности, которую нельзя ни оценить, ни поверить чем бы то ни было из той сферы, которую я привык мыслить как единственно реальную – сферы жизни зависимой, сообщительной, соотносимой с теми, кого я любил или не любил. Я не знал, и теперь не знаю, что было причиной скорби Учителя. В том, чему я был невольным свидетелем, был хаос, тот первоначальный хаос стихии, подсмотренной в ее подспудной, эмбриональной ипостаси, для которой существует бесконечное множество путей формирования, прежде чем она наконец приобретет завершенность новорожденного существа.

Дрожа всем телом, вернулся я в отведенную мне келью и лег, не в силах сомкнуть глаза и забыться, а когда удар гонга возвестил о начале нового дня, я с обезумевшими глазами, в непередаваемом смятении чувств, вышел в трапезный зал и увидел идущего мне навстречу Учителя. На лице его светилась обычная и при этом несомненно искренняя приветливость, то уже знакомое мне, обычное и тем более непостижимое восхищение утром, каким бы оно ни было, и уста его провозгласили традиционное и между тем всякий раз поражавшее меня как громом приветствие: сегодня такое-то число, такого-то месяца, такого-то года. Действительность, день, свет, разум вступали в свои права. В сознании этого человека как будто отпечатлевался каждый прожитый день, благодаря работе, как бы органически проистекающей из

опыта его прежних дней, ибо этот день был единственным днем, который Кваленштейну можно было прожить и пережить так и только так, как он его переживал.

И вот тогда, в то утро, встретив его в зале и услышав это его приветствие, я во всей полноте ощутил значение одного из множества его афоризмов: «Кто жил в разных действительностях, научается ценить ту единственную, которая одинаково признается всеми другими людьми.» Эта фраза всплыла в то утро перед моим внутренним взором подобно морскому чудовищу, которое прежде давало о себе знать лишь спинным плавником, время от времени прорезавшим изумрудную поверхность моря, но которое вдруг всплыло, показав всего себя – от неправдоподобно-страшной своей пасти до тяжелого хвоста; не скажу, чтобы я мог представить себе ту бездну, тот хаос, нечаянным соглядатаем которого я оказался минувшей ночью, с мокрым снегом и тяжело шевелившимся морем, –, но этого было более чем достаточно, чтобы парализовать мою волю...

Помнишь, нас с Ави, когда мы листали рукопись Учителя в Архиве Башни, поразило примечание к одной из структур? Вот оно: «Может быть, говоря о человеческой жизни, мы заблуждаемся, уделяя внимание лишь той ее части, что исчисляется с момента выхода из материнского лона. В утробе человек претерпевает такую гигантскую метаморфозу, которая по своим масштабам попросту несоизмерима с его последующей жизнью. Тут впору задаться вопросом: не есть ли наше действительное, в привычном смысле слова, существование – лишь ряд последних и, надо признать, весьма незначительных с биологической точки зрения изменений, – не есть ли оно лишь агония, или даже сама смерть?..»

В пору его болезни, казавшейся поначалу нам, его ученикам, лишь обычным старческим недомоганием – так бодро и мужественно держался этот человек, когда

смерть уже распростерла над ним свое белое крыло, – у меня состоялась недолгая беседа с Учителем.

Как-то после наших занятий, которые были сокращены до минимума и сводились порой лишь к ежедневной предобеденной проповеди Кваленштейна, – отпустив учеников, он положил свою хрупкую руку мне на локоть – знак, чтобы я остался. Я почтительно повиновался, чувствуя, как краска вины заливает мне лицо – незаслуженной вины свидетеля ночной его скорби, ибо всё истекшее после той ночи время мне казалось, что Кваленштейн помнит мою обезумевшую от страха фигуру на скале, хотя я и понимал, что невозможно было увидеть на фоне черного неба далекую человеческую тень, облаченную, в отличие от него, Учителя, не в белое, а в черное (некоторое подобие ризы носили ученики во время пребывания у Кваленштейна – не потому, чтобы это было предписано уставом, а лишь вследствие традиций, по молчаливому согласию самих адептов; у меня язык не повернется сказать «членов общины», хотя в каком-то смысле, а именно благодаря незыблемости авторитета Хозяина, сообщество наше и впрямь было общиной.)

– Посидите со мной, – проговорил Кваленштейн, в изнеможении откидываясь на подушки. Минуту лежал он так, закрыв глаза; затем осенил меня Знаменем Жизни и сказал следующее:

– Я давно замечал, что вы, несмотря на то что проводите время в стенах этого особняка с большой пользой для себя, все-таки тяготитесь своим пребыванием здесь... Не перебивайте меня, – попросил Кваленштейн, заметив протестующее выражение на моем лице. – Из ваших товарищей, из всех, кто когда-либо гостил у меня, вы привлекли мое внимание чертой, которая для меня загадка. Не чтобы это был скепсис – нет, вы слишком чистосердечны, чтобы быть скептиком, и даже не недоверие или

сомнение к предмету здешних ваших штудий выражаются в ней, а, скорее, неудовлетворенность ими, как если бы занятия эти в еще большей степени, чем когда-нибудь прежде, доказали свою неспособность утолить вашу жажду... – Он вдруг замолчал, не договорив.

Я был в растерянности. Что мне было отвечать ему? Что чувство скудости, некоей личной ущербности – мой постоянный спутник, во всяком случае, поселилось во мне задолго до моего появления в доме Учителя? Что ощущение этой внутренней недостаточности есть лишь свидетельство моей «дюжинности»? Да и зачем бы я стал сообщать об этом кому бы то ни было, даже и Кваленштейну?.. Мне хотелось одного: остаться поскорее одному. Мне и вообще непонятно, для чего люди говорят друг другу о себе, о себе подобных? Что движет ими в этом стремлении навесить на себя или на ближнего ярлык, выжечь тавро, проставить своего рода номер на чужой или своей душе? И Кваленштейн не удержался от этого. А может, это еще раз доказывает, что, не умея судить других, невозможно понять и самого себя, а значит, твое собственное нравственное существо пребывает в своей более или менее первоначальной бесформенности, то есть пребывает дюжинно, ordinarily, коль скоро руководствуется лишь общедоступным?

– Однако ordinaryность не вызывает интереса, – вновь заговорил Учитель, как бы подслушав мои мысли. – Более того: ощущение скудости – не есть ли оно залог желанной полноты жизни?

– Я бы не хотел быть предметом нашей беседы, – выдохнул я наконец, воспользовавшись паузой.

– Вы полагаете, что мы говорим о вас? Только о вас? – Он улыбнулся как-то по-детски хитро и просто-душно; странно, сколь естественной казалась эта улыбка на его бледном, изможденном лице. – Я прожил свою жизнь. Оглядываясь назад, вижу, что прожил ее так, как

хотел бы прожить. К моему мнению прислушиваются не только люди ученые, но и те, о существовании которых я и не подозреваю. Я снискал авторитет своему духовному существу, но и персть моя ведет себя весьма суверенно. Не скажу, что моя жизнь была преисполнена покоя и ясности, это не так. И в вас мне любопытно качество, которое я хотел бы пережить так, как переживаете его вы. И поверьте, что, случись мне исповедовать метемпсихозу, больше всего после смерти мне хотелось бы возродиться в вас, чтобы почувствовать вкус этого вашего «временщичества».

Сейчас, пытаясь вспомнить свое состояние после этих слов Кваленштейна, чтобы, ничего не утаивая, рассказать о том тебе, я ловлю себя на мысли, что мое самочувствие по уличении меня во «временщичестве» было во многом схоже с тем, что чувствовал я, когда Наместник заговорил со мной об университетской кафедре. Та же безапелляционность, то же представление обо мне как о человеке, который зависит. Что ж, может быть, я заслужил эту несправедливость.

– Только не воспринимайте это как негативную характеристику, – поспешил добавить Кваленштейн. – Изменя плохой моралист, хотя, как это ни парадоксально, именно это слово со всевозможными эпитетами в превосходной степени частенько мне приходится слышать в свой адрес. Что делать! Людям не запретишь называть тебя иначе, чем это им хочется. Напротив, если кому и прилична эта квалификация моралиста, то из нас двоих вы скорее ее заслуживаете. В самом деле, часто думал я, наблюдая за вами: это неразличение дней в их насущной требовательности, в их неповторимости, проистекает, быть может, из того обстоятельства, что моральный закон – я не знаю, в чем он выражается, – исповедуемый вами, слишком категоричен, чтобы служить критерием жизни повседневной. И руководствоваться обыденной

моралью, понимая ее относительность, ее несоизмеримость с тем абсолютом, который вы, возможно, когда-то осознали, – не есть ли это причина вашего скорбного скепсиса, постоянного, неутолимого *taedium vitae*<sup>1</sup>? Нет, не отвечайте мне! И если бы воля умирающих была исполнима, я бы желал пожить в вашей духовной плоти, чтобы эту скорбь познать – всегда удовлетворенную (ведь закон ведом) и вечно неудовлетворенную.

Кваленштейн разглядывал меня в упор, как бы пытаясь проникнуть в ход моих мыслей, о которых я могу сказать только, что помню их смутно. Помню лишь, что мне отчего-то было стыдно: за себя ли? за своего почтенного собеседника? – не знаю, но было стыдно и горько. Так бывает во сне, когда обнаружишь вдруг, что происходящее с тобой тебе в высшей степени омерзительно, но прервать сон, заступить подсознанию дорогу почему-то не оказывается возможным. Наконец Кваленштейн, видимо утомившись, вновь закрыл глаза. Казалось, он забылся дремотой. Я поспешил к себе с ощущением, как будто меня раздели донага и выставили на всеобщее обозрение, и стыд мой длился столь долго, что превратился в неодолимую усталость, и первое, что я сделал, оказавшись у себя в келье, так это запер дверь на ключ и повалялся в бессилии на постель.

Разбудил меня колокольный звон – то звонили по Кваленштейну. Долго не мог я заставить себя выйти в зал, где лежал он в белом просторном гробу на возвышении, убранном кипарисовыми ветвями. Но когда в доме наступила тишина, когда ученики, уставшие от скорби, разошлись по кельям, я подошел к гробу и преклонил колена.

Помолившись за душу Учителя, я поднялся и, пересилив себя, взглянул на лицо Кваленштейна. Какое-то

---

<sup>1</sup> Отвращение к жизни. – *Лат.*

странное, непонятное и, однако же, значительное чувство охватило меня: будто иссиня-бледное лицо на подголовнике было не лицом Учителя, а лишь неким, весьма малодостоверным подобием его черт, своего рода отпечатком; оно не было одухотворено, и самый вид его как бы говорил: я только персть земная, сброшенная оболочка, в которой жил когда-то человек, но теперь его нет, и память о нем во мне исчезает с каждым мгновением; я только прах, и не нужно искать во мне того, чем я не обладаю, да и не обладал никогда...

Мне хотелось уйти; я сделал попытку поцеловать труп, но едва губы мои приблизились к холодному лбу, я почувствовал дурноту и с трудом совладал с собой, в последний миг заметив глядевшие на меня из угла глаза священника: видимо, он дремал, когда я вошел. Сдерживая себя, я прикоснулся к скрещенным на груди восковым рукам и вдруг заметил аккуратно сложенный листок бумаги: уголок его торчал из-под ладони. Сделав вид, что устраняю какой-то мелкий беспорядок в убранстве покойного, я извлек листок и, будучи почему-то уверен в том, что предназначен он мне, спрятал в кулаке, поклонился гробу, священнику и пошел к дверям, спиной чувствуя пристальный взгляд и со всё нарастающей уверенностью ожидая, что меня сейчас окликнут и разоблачат. Сердце мое колотилось, как колотится оно у преступника, впервые осознанно решившегося на преступление; и, лишь вернувшись к себе, я перевел дух и развернул послание. Да, это было письмо, и адресовано оно было мне, я не ошибся. Оно не было продиктовано, а написано им самим, вероятно, еще до моего последнего разговора с Учителем; во всяком случае, после нашей беседы он был не в состоянии писать, ибо, как я потом узнал, его нашли уже мертвым, когда кто-то из гостей вошел к нему после моего бегства, чтобы справиться о самочувствии Хозяина. Вот что было в письме:



«Не ждите окончания обрядов, которые так же мало связаны со мной, как и то, что спустя несколько дней в подобающей обстановке снесут в крематорий и сунут в печь.

Идите себе. И не горюйте обо мне. Эта жизнь мне удалась. Я выполнил всё, что возможно выполнить человеку в мире: я создал самого себя, создал некое действительное «я», очищенное от пороков и эгоизма. Насколько оно оказалось жизнеспособным, судить не мне, а, в частности, вам. Я воздвиг вожделенную башню из слоновой кости, которая явилась воплощением моих духовных поисков.

Я полагал до последнего времени, что создание этой башни – наибольшее, что может быть уделом человека. Понимание этого пришло ко мне не сразу. Какое-то время мне не давала покоя мысль, что, созидая себя, разрушаешь окружающих. Но это не так, или не совсем так. Мне хотелось выстроить такую башню, возведение которой было бы желанно моему окружению и проистекало бы из лучших его побуждений. Я строил ее и перестраивал, раздавая всё, чего достигал, что приобретал. Но я построил ее, ибо единственным условием такого самостроения был мой собственный дух. *Exegi monumentum*<sup>2</sup>...

Ошибка крылась в «я» и «мой». Индивидуальность, как бы ни была она развита (а она, разумеется, должна быть развита максимально), не есть самоцель. Ибо это как раз то, что невозможно отдать. Можно поделиться результатами своей деятельности, можно даже вовлечь в нее, делеясь, других людей, но нельзя поделиться тем малопонятным образованием, которое руководит этой деятельностью, то расширяя, то сужая ее, а то вдруг прекра-

---

<sup>2</sup> «Воздвиг памятник...» - цитата из Горация. – *Лат.*

шая вовсе или же начиная деятельность нового рода. Согласия со своим «я» недостаточно. Я не буду объяснять вам, почему: знание это у вас в крови.

На прощание хочу вас предостеречь от ошибки, допущенной мной: не пытайтесь понять самого себя – это любопытно, плодотворно, положительно и проч., но человек и без того слишком одинок, чтобы сосредоточиваться на собственной персоне, будь он хоть семи пядей во лбу. Ведь даже если вы чего-то и достигнете на этом поприще, рано или поздно обнаружите подмену, подобную той, что вы ощутили несколько минут назад, придя попрощаться со мной. Vale. Qualenstein<sup>3</sup>.»

### III

Первое, что меня поразило, когда я увидел тебя, что ты не изменилась. И даже платья, что ты носила прежде, до моего отъезда, производили впечатление пошитых недавно. Мне была предоставлена служба в Башне; мы переселились в один из ее приделов, и я напрочь забыл и грохот посуды, и запах кипятившегося белья, и эту огромную влажную кухню с длинным выложенным до блеска столом и неизменно отворенным окном. Наместника я с тех пор не встретил ни разу. Изредка по праздникам, связанным с постройкой очередного павильона или же с памятными датами из истории строительства Башни, печатали его торжественные речи со старыми портретами, где он улыбался так же, как улыбался когда-то в Южном Приделе под аплодисменты, незадолго до моей аудиенции с ним. Но присутствие его в Башне ощущалось: хлопали двери; по этажам бегали в черных комбинезонах курьеры, на лицах которых отражались, как в

---

<sup>3</sup> Будьте здоровы. Кваленштейн. – *Лат.*

зеркале, черты и привычки вождя; гремели кареты, стучали просители, а в кулуарах чиновники травили, выпячивая губы, анекдоты, безобидные, без всякого даже намека на фривольность, а потом и анекдоты смолкли: поговаривали о подготовке нового указа, в согласии с которым анекдоты об уполномоченных лицах будут квалифицироваться как антигосударственная деятельность. Княгиня, по слухам, была больна, не то какой-то женской хворью, не то психическим расстройством; жила она на Взморье, в отшельничестве; помнится, одно время ты писала ей, а потом перестала.

Дела мои пошли в гору. У меня появилась возможность изредка радовать тебя нарядами и украшениями. Мой авторитет в академической сфере рос, поговаривали о деканстве, и это тешило мое честолюбие. У меня появилась теплая шинель на каракулевом меху, каракулевая же шапка, род клобука с пушистым хвостом, ниспадающим на плечо. У меня появился вид из окна. То, что открывалось когда-то из окна желтой комнаты: веревки с сушащимся на них бельем, мусорные баки, загаженный скотиной и птицей снег, убогие, натканные как попало надворные постройки – клетки, подклеты, сарайчики, конюшни, – ах, какие это были дрызги и дрызги! Теперь же мое (наше) окно было с видом на один из многочисленных порталов изысканной готической архитектуры, украшенный мрамором и кварцем, с традиционным позлащенным изображением солнца над тяжелыми чугунными решетками ворот, с видом на тянущиеся к Порталу аллеи, с аккуратно подстриженными деревьями, на ухоженные газоны, величественные обелиски и урны, на экипажи, по утрам подъезжавшие к Порталу и выстраивавшиеся в прихотливом порядке, чтобы к вечеру постепенно рассеяться по тем же аллеям, что приводили их сюда. А это чинное спокойствие звуков, доносившихся снизу: голоса

возниц, распорядителей, беседы вполголоса просителей друг с другом у входа, характерный дробот колес по булыжнику Портальной площади, скрежет засова за сумеречным окном, поздние, вселявшие уверенность, тяжелые шаги стражи по ночам, сменявшиеся мерным шорохом метел и звуками дворовой уборки и т.д., – словом, окно мое теперь было с видом на жизнь. Наконец, у меня появились книги. Их было много, под них была предусмотрена отдельная просторная комната, и, когда я не был занят в Башне, я мог подолгу заниматься ими. О, ничего увлекательнее этой игры я не знаю! Я открывал книгу, читал какое-то время с сугубым вниманием, затем мысли мои по аналогии переносились на другой предмет и другого автора, я отыскивал на стеллажах другую книгу, находил нужное место, порой выписывая его, а потом вдруг вспоминалась мелодия, или рисунок, или стихотворение, где в синтетическом виде преображались две основополагающие мысли, и стоило поверить свою память текстом оригинала, воспроизвести зазвучавший во мне мотив на простой деревянной дудке или же проследить за линией на рисунке, за сочетанием валеров на репродукции, – как первоначальный текст в свете последующих штудий загорался каким-то особым светом, воспринимался как откровение, разрешавшееся экзегезой по отношению к нему самому. Меня влекло к столу, к холодной бумаге и острым карандашам, и я неспешно, с чувством величайшей свободы, запечатлевал свои мысли, отвлекаясь время от времени ради словарей, справочников и цитат. И я не знаю пафоса прекраснее, не знаю самозабвения безудержней, чем это неспешное следование пульсирующей в висках мысли, – того самозабвения, с каким я отдавался ей, ее формируя, возводя ей памятник внутри себя.

Дымила трубка, голова тяжелела, наступал вечер, и

ты возвращалась из Башни, усталая, а после ужина, который нам приносили курьеры, я посвящал тебя в эти мои штудии, и ты слабо улыбалась в ответ на мою горячность; в эти вечерние часы, делясь с тобой своими открытиями, я не только поверял достоверность своих умопостроений, оригинальность выводов и парадоксальность разысканий, – но как бы утверждал за собой нравственное право на подобного рода деятельность, с ее необязательностью и свободой, право, которое я с успехом закреплял во время лекций, приводя фрагменты этой своей работы. Счастлив ли я был? Вероятно. Хотя теперь мне кажется, что было во всем этом что-то судорожное, что-то как бы слишком самозабвенное, до болезненности, и когда ты не понимала меня, искренне признаваясь в этом, или говорила, что уже встречала нечто подобное – не то у Кваленштейна, не то еще где, или же попросту переставала воспринимать, занятая какими-то своими мыслями, – как это разочаровывало, обижало, сердило... Был ли я счастлив? О да!..

Лишь одно обстоятельство временами точило мне душу – исчезновение Ави. Помнишь, по возвращении я упрекал тебя, почему ты не сообщила об этом? А ты отвечала, что, может быть, он в служебной командировке или взял отпуск, что со дня на день он вновь появится за своим громадным столом в Архиве, что, наконец, у него могли быть свои причины... И печальнее всего, что ты, кажется, сама в это верила – в то, что ничего экстраординарного не произошло, что отсутствие Ави лишь временно и продиктовано его собственной волей, – да я и сам верил этому, мне хотелось в это верить, чтобы не смущать моего счастья, нашего счастья с тобой! Как я был слеп! И как поплатился за это!..

IV

Я помню, с чего начался крах. Был раут в Башне. Оглашался Указ о неприкосновенности Банных помещений в ее приделах. Ты стояла рядом со мной в Красной Галерее. Это было слишком традиционное мероприятие, чтобы относиться к нему патетически, к тому же – Бани и без того были неприкосновенны (и кто пользовался ими, недоумевал я, – Наместник? Кураторы? или это были заведения очистительно-исправительного типа?); до меня доходили слухи о растлении дев, о разврате высших чинов, но слухам я не верил – ведь они происходили из того прошлого, случайного, зависимого, «иконописного» мира. Всё это было не так важно; раут как раут, – должна же сопутствовать государственности своя обрядовость, церемониал, если угодно... Когда были опробованы закуски и последний Куратор покинул Галерею, ты взяла меня под руку, чтобы сквозь толпу вывести наружу. Как ты смеялась надо мной прежде, над тем, что я, с большим трудом (да и то всякий раз исподлобья поглядывая на указатели) освоив путь от Портала до Кафедры, так и не научился ориентироваться в бесчисленных коридорах, анфиладах, переходах, галереях и проч., и, едва возникала нужда изменить привычный маршрут и тебя не было поблизости, как я паниковал, с ужасом понимая, что могу заблудиться, потеряться, погибнуть в этом лабиринте; впрочем, я таки ни разу не заблудился, и если и случалось мне забрести в какую-нибудь глушь, то рано или поздно попадался кто-либо из администрации или даже знакомых и указывал на ориентиры, благодаря которым я благополучно добирался до нужного помещения, или же сам, вконец отчаявшись, неожиданно-негаданно набредал на выход. Мы уже вышли из Красной Галереи, которая сменилась мраморными, освещенными снизу ступеньками, но

на повороте, прежде чем войти в очередной коридор, я услышал, как кто-то позвал меня по имени. Нижний свет не позволял рассмотреть мне лицо девушки, что стояла возле стены, но что-то в ее облике показалось мне знакомым; «одна из моих слушательниц, верно», – подумалось мне; я сказал тебе, что догоню, в надежде, что разговор с девушкой не отнимет у меня много времени, и спросил ее, чем могу ей служить. Я вглядывался в черты девушки, в ее золотистые блестящие волосы, расчесанные на прямой пробор, а девушка молчала, смотрела на меня взглядом, выражение которого я не мог уловить: что было в нем: просьба? вопрос? мольба? упрек? может быть, поклонение? презрение? ненависть? – я всматривался в нежный овал ее лица, с несколько удлинненным книзу и как бы отточенным – ах, этот нижний свет! – мыском подбородка, в ее дрожащие, будто что-то шепчущие, полноватые, с ямочками по углам губы, – а девушка молчала, – всматривался в обозначенные светом и тенью высокие брови и точеный белый лоб, а она всё молчала, и когда почувствовал, что она слабо тянет меня пальцами обеих рук за обшлаг сюртука, я испугался, что ты уйдешь, а я заблужусь. Мимо шли какие-то люди, ты уходила прочь, невидимая, а девушка молчала, кого-то мучительно мне напоминая, но кого? кого? – и еще было что-то от чувства вины в том, как я стоял перед ней, и, сколь возможно менее невежливо, я высвободил рукав из ее пальцев, проговорив что-то вроде того, что «дело ваше решится», или: «подойдите ко мне после лекции, и мы всё обсудим», а может: «сейчас я тороплюсь, вы пришлите ко мне курьера с изложением вашего вопроса», или: «мы, к сожалению, не всегда зависим от собственных волеизъявлений», – словом, наконец я вырвался, шагнул через оставшиеся ступени и оказался перед дверью, которую кто-то любезно поприветствовал передо мной. И вот тут-то, по ходу, в потоке

людей, поднимаясь на цыпочки и выискивая глазами твой рубиновый гребень среди множества чуждых затылков, я понял, на кого она была похожа, – на девочку, что провожала меня по утрам в той далекой «желтой» жизни на службу в Гимназию и молчала, держа свою маленькую ладошку у меня в руке. Неужели прошло столько времени?.. Может быть, это дочь Ави, хотя с какой стати?.. но имя... имя... и как она изменилась!..

Всё меньше становилось людей вокруг меня; теперь это были в основном курьеры – сплошные черные комбинезоны и стриженные затылки; ни крикливых дамских нарядов, ни аромата духов и вина – всё это куда-то исчезло; я пытался припомнить, не оставил ли за спиной нужный мне переход, ответвление вправо, но вспомнить не мог и почему-то был уверен, что появившийся передо мной прямоугольник ореховой двери впустит меня в зал, где я увижу тебя в окружении, быть может, еще не рассеявшихся других приглашенных; я был странно уверен в этом, когда ощутил пальцами полированную поверхность дверной ручки и потянул ее на себя.

Картина, представшая моему взору, поразила меня: передо мной была огромная гимназическая столовая, освещенная тем особым, барачным, желтым светом. За желтыми же, выскобленными столами сидели гимназисты в нашейных платках. Они молились. Некто, в свободном одеянии мышинового цвета, стоял в центре, руководя этим странным, еще не знакомым мне обрядом, и мальчишки, с деревянными колотушками в руках, стучали о толстые столешницы, потихоньку подвигаясь – в ритм этому сухому постукиванию – на скамьях, пересаживаясь от одного стола к другому; движение их становилось всё быстрее, наконец, оно превратилось в какой-то сидячий бег, в какой-то непрерывный, всё усиливавшийся гул, а



огромная серая мышь, руководившая молитвой, кружилась на месте юлой, и риза ее раздувалась как колокол. Меня не замечали. «Так вот значит как: Башня добралась уже и до Гимназии, проглотила ее», – мелькнула во мне мысль, и совершенно неизвестно почему, но передо мной вдруг возник образ Ави-юноши, того Ави, с кем мы после учебы шли к Башне, чтобы собственными руками вложить в нее свою дюжину кирпичей: худощавое лицо с тонкими губами, глубоко посаженные темные глаза, легкая соломка волос, торчащие уши, растущие как бы из шеи, галстук, студенческое пальто с не застегнутым воротом, сапоги, с жутким запахом ваксы и рыбьего жира; и этот незначительный речевой дефект с путаницей сонорных звуков – мне казалось, я даже слышу слова, которые произносил он тогда, только я не мог вспомнить, не мог понять, что он такое говорил... Деревянный гул-стук оборвался; образ пропал. Стараясь не привлекать внимания, я прокрался вдоль стены к очагу, где кипел огромный, черный от копоти котел, нащупал боковую дверь для прислуги и шагнул в темноту. Я оказался на крохотной площадке железной винтовой лестницы, стоять на которой было невозможно: она была так горяча, что жар чувствовался сквозь подошвы туфель. Скорее повинувшись инстинкту, чем рассудку, я поспешил вниз, откуда как будто веяло прохладой; лицо мое горело, и сам себе я казался колеблющейся, подобно коллоиду, почти бесформенной массой, медленно, мучительно медленно перетекавшей со ступеньки на ступеньку. Я не помнил уже о тебе; чувство ужаса, что я могу сгореть, обуглиться, превратиться в пепел, истлев здесь, на глухой лестнице, в узком колодце, – владела мной. К этому ужасу, однако, примешивалось неприятное, как заношенное бельё, ощущение будничности происходящего, утомительно-грязное, какое-то задворковое, чуланное, и при том столь стойкое,

будто вопрос о том, как долго предстоит мне пресмыкаться здесь, уже предрешен какой-то внешней силой, и этот предустановленный мне срок настолько окончательен, что не подразумевает даже и надежды на сколько-нибудь вероятное его ускорение. Всё ниже вели меня ступени, и если жар начинал, кажется, спадать, то ощущение обреченной заброшенности не исчезало, и двигался я как-то механически, не столько даже в поисках выхода, сколько из потребности хотя бы во временной передышке, – ах, если б забыться или вдруг сон!.. Не знаю, как долго продолжался этот спуск, только я почувствовал внезапную боль в ноге, когда она, вместо того, чтобы шагнуть на следующую ступеньку, ударила тупфлем по плоскости предыдущей. Когда боль немного утихла и я, постучав ногой по полу, сообразил, что лестница наконец кончилась, что передо мной лежит черный коридор, уходящий будто бы вправо по чуть наклонной плоскости, я неуверенно зашагал по нему, держась обеими руками за стены, почти не замечая смрадной слизи, покрывавшей камень. Теперь, в темноте, я боялся только одного: что, устав и утратив бдительность, упаду в колодец, неминуемо поджидавший, как мне казалось, меня впереди. Но когда нога моя ткнулась во что-то твердое и я едва не расшибся о выросшую передо мной стену, – я почувствовал облегчение, ибо большего ужаса, чем тупик, представить себе не мог. Теперь мне оставалось только повернуть назад; спешить уже не имело смысла. Я чувствовал только усталость, сродни той, что одолевала меня когда-то давно, в забытой мной, прошлой, «иконописной» жизни, когда поздней ночью я возвращался в наш барак, где ждала меня ты, возвращался без мысли о тебе, с какой-то как бы и не моей тяжестью на сердце и дрожавшими от переутомления ногами, – о, я помню, как меня

страшила эта всепоглощающая усталость, и мне казалось, что в эти минуты я ношу в себе смерть, которой нужно сделать лишь небольшое усилие, чтобы выйти из меня наружу и меня поглотить. В изнеможении повалился я в угол и, теряя сознание, успел заметить яркий свет, вдруг грянувшей из отступившей стены в мою темноту.

Наступил сон, в котором ничего не было. Так было в нем покойно и тихо, что когда вдруг замерцали в нем какие-то смутные точки, они показались мне, исполненному незыблемости этого покоя, столь наивными, что придали сновидению оттенок умиления и легкой радости по поводу несоизмеримости этих блуждающих точечных огоньков, их неприкаянной случайности – с огромным пространством, которое всё было свет и которое всё было тьма. И это чувство радости не развеялось даже тогда, когда мерцающие точки стали собираться в группы, рассеиваться, собираться вновь – и с каждым разом всё более плотно – в какие-то массы, о назначении которых я не мог и догадываться до самого последнего мгновения, когда из этих масс вдруг не соткалось женское лицо. Лицо показалось мне красивым, и я был благодарен сну, который, наполнив меня упоительным покоем, не поскупился также и на образы, далеко не неприятные. Соткавшаяся из пылинок женщина то приближала ко мне свое лицо, то лицо это удалялось, теряя определенность черт, а мне не хотелось расставаться с приглянувшимися чертами, и, ощущая свою волю как безграничность, я заставил образ, явленный мне, светиться полнее, подробнее, и я увидел, что женщина во сне была совершенно нагой, но она не замечала своей наготы, и морщинки обеспокоенности на ее лице, смутно знакомые морщинки в углах губ, когда она снова наклонилась ко мне, ясно говорила, что ее интерес ко мне (какой-то суетный, как вдруг показалось),

вызван той безмятежностью, что царила во мне. Точно так же, одним своим волеизъявлением, я усилил ее голос, когда заподозрил, что этот еле слышимый шелест, сопровождающий видение, может усилить ощущение моей радостной заинтересованности в нем, которое – мне казалось – я волен буду прекратить, едва лишь это мое любопытство иссякнет, натолкнувшись на нечто такое, что угрожало бы разрушить мой покой.

Не для того ли было мне явлено счастье в беспамятстве, с прекрасным этим видением, чтобы спустя миг низвергнуть меня в муку и боль, в болотную смрадную бездну последней утраты?.. Что это было за видение – ты знаешь лучше меня. И открытие мое (через всё усиливающиеся, всё более приковывающие мое внимание морщинки в углах губ, через всё возраставшее ощущение знакомости – этих морщинок? или этих чудных распущенных гнедых волос с рыжеватым отливом? или голубой сетки прожилок под милыми глазами, сквозь прозрачную белизну кожи, подернутую легким желтоватым оттенком? или этого хрупкого белого уха, открывавшегося вдруг после того, как убраны были волосы, мешавшие видеть меня? а может, узнавание обрушилось в меня сразу, всей совокупностью черт? – о, мука того узнавания не оставляет меня и теперь, когда всё давно известно и изжито, и слезы любви и утраты колют своим холодом лицо) – это открытие было крахом всего меня, моей судьбы. Ты была мне судьбой, была этим «все» и была как бы залогом моей открытости, моей всеприспособляемости, моего благоволения и моего безволия, ведь даже «черно-желтая» комната, не говоря уже о Кваленштейне и Башне, даже мои книги служили мне только доказательством тебя, а значит – доказательством и меня самого... А теперь я не знаю о себе ничего, судьба покинула меня, и «временничество», о котором говорил когда-то

Кваленштейн, вошло в меня, растворило меня в себе, меня поглотило, и, если бы не память, если бы не возможность в мыслях обращаться к тому, что было прожито с тобой, если бы не знание того, что ты у меня *была*, – оно уничтожило бы меня... Как забыть мучительное объяснение тут же, в Бане (да будет проклято это слово!), на теплом мраморе, с нестерпимым блеском отражавшегося в нем света, эту твою глянцевитую наготу, мерцавшую рубиновой иглой в моем безумном мозгу, – ощущение сдавившей горло петли, вдруг, разом сменившее чувство безграничной свободы, лившейся в грудь потоком; тяжесть, рухнувшая вдруг, о которой я не подозревал прежде, которой ведь и не было, попросту не существовало, – о, это задыхание внезапной несправедливости всего, всего, всего!.. Каменная неподвижность языка, и если бы не слабейшая надежда, надежда безумная, что что-то еще можно сместить, повернуть, закрыть доступ грянувшей хляби, мерзости, нечистоты, – надежда, побуждавшая этот камень шевелиться, стучать о зубы, о щеки, о губы – утроба рта безмерна в своей косности, если бы не надежда, не легкий ее проблеск – вздорный! вздорный! – то как покойно было бы отдаться этой тяжести, пусть придавит, раздавит, убьет, не сопротивляться ей, не пытаться остановить разверзшуюся хлябь, а погрузиться в нее, раствориться, не видеть, не слышать, не думать! Пусть погибнет воображение, пусть отпустит, откинув свой ярый покров!..

...Приходили слова, они ударились в мозг, ища себе место, ломаясь кусками, ворочались, толкались, укладывались в груди. Самое громоздкое из них было слово «Ави», оно обрушилось сверху, сминая под собой улегшиеся было другие камни, упало на голую боль, вздымая столб – огня? влаги? праха? – «Ави... Узнать... Что с ним... Где он...» – Боль качалась, струилась, обволакивала язык,

и он, заведомо зная, что всё кончено, неуклюже переваливался во рту. – «Почему... Это не так... Ты не могла... Без меня... Со мной не могла... Не могла...» – «Он тоже ты... Ты без него не ты... Пойми»

– Я понимаю... Это я должен был...

– Но ты не...

– Я не знал... нет... нет...

– Это Кваленштейн убил...

– Кого?.. Кваленштейн?..

– Тебя, если...

– Да... Не могла... Ави... Ави... Ави...

Потом тебя оторвали, стали что-то делать со мной, окрутили чем-то, связали, сжали, мне стало легче, стали толкать, я падал, поднимали, толкали снова – эти тени, черные тени, стало не так больно, мелькнуло еще что-то, нагая девица с золотыми волосами, совсем юная, я не узнал ее. И свет погас, и угасла боль, и наступил покой, но то был уже какой-то совсем другой покой: затхлый, грязный, с привкусом железа во рту, и железом этим был мой умерший язык.

## V

Это новый покой, подвальный, с крысами и постоянным ощущением собственной нечистоты, меня и спас. От чего спас? спас для чего? – думал я, лежа на холодном загаженном полу влажного подвала, и не находил ответа. Иногда мне вдруг смертельно хотелось видеть тебя, чтобы убедиться, что происшедшее – произошло, и ты приходила одна или приводила с собой ту девушку, и вы молчали обе, как молчат в присутствии человека, от которого чего-то ждут, – молчат терпеливо, смиренно, обреченно, пока тот, наконец, не исполнит того, что ему надлежит сделать. Меня это почему-то веселило, и ты простишь мне

этот смех, так пугавший тебя. Чего было ждать от меня? словно это я вел себя неправильно, заблуждался, словно мой компромисс с жизнью и был самой непростительной моей виной. В конце концов, даже позднее, когда я согласился увидеться с Ави и воспользоваться добытыми вами в Бане схемой Подвала и ключами, – это было выражением всё того же моего компромисса с жизнью, – неужели ты не видела, что я не меняюсь?! Так неизменно всё, что отзывчиво, открыто в самой своей сути, сколь бы ты ни была права, упрекая меня в эгоизме, черствости, холодности, в том, наконец, что имел в виду юный Ави, нарекший меня Сухим Змеем, – помнишь, как это прозвище когда-то тебя забавляло? – когда-то давно, так давно, что моя сомневающаяся тень (ибо меня нет, и сомнение – всё, что у меня осталось) не видит ничего достоверного ни в прошлом, ни еще менее в настоящем, а будущего... а будущего... но подожди... дай договорить тому, язык которого мертв...

## **ПЕПЕЛ АВГУСТА**



День дню передает речь,  
ночь ночи открывает занавес.

*Псалтырь*

Ты видел мглу. Она была вокруг тебя. Мир весь был мглой, и сам ты тоже был ею. Ты не мог бы сказать с уверенностью, где кончаешься ты и начинается не-ты. Вы были почти однородны с тьмой. *Почти* потому, что каким-то непонятным образом в тебе жила способность смотреть. И ты всматривался во тьму, пытаешься различить очертания вещей, – ведь так же, как ты знал, что ты все-таки не вовсе слит с нею и, следовательно, имеешь какую-то свою форму, должны существовать и другие формы, подобные твоей, и вот их-то ты и пытался рассмотреть. Но тьма не сдавалась и препятствовала этому. Больше того, чем пристальнее ты вглядывался, тем крошечней она становилась. Как долго продолжалось это сгущение тьмы, ты не мог бы сказать – очень и очень долго, слишком, невыносимо долго. И вот тогда, когда крошечность тьмы достигла уже такой степени, что грозила полностью тебя поглотить, сведя на нет то, благодаря чему ты мог осознавать по крайней мере свой взгляд как принадлежащий тебе и только тебе, ты вдруг понял, что это есть последняя степень крошечности, что если мгла будет продолжать сгущаться и дальше, то с нею что-то произойдет, что-то совершенно невероятное, но произойдет неминуемо. И ты стал смотреть еще пристальнее и увидел, как где-то в самой сердцевине этой мглы, совсем еще неразлично, неощутимо, в высшей степени невнятно, но все же что-то возникло, да, какая-то бледность, которая очень медленно, то угасая, то появляясь вновь, стала постепенно проступать из этой мглы, словно прорастая сквозь нее и становясь смутно-бледным пятном. Это не было светлое пятно, да и каким бы образом свет мог сюда проникнуть? Пятно было порождением самой тьмы, когда она достигла максимальной своей плотности, в последней степени сосредоточась на самой себе.

Ты продолжал вглядываться, несмотря на то что единственное чувство, какое ты способен был переживать, было чувство полного изнурения, черной пустоты внутри того, что ты мог еще подразумевать под твоим «я». Ты продолжал вглядываться, пока наконец пятно не стало плавать перед глазами, принимая еще не явные очертания, которые оно тут же меняло, словно не решаясь оформиться во что-то определенное. Тем не менее ты чувствовал, что пятно это хочет во что-то воплотиться и что для этого оно нуждается только в одном – чтобы ты смотрел. И ты смотрел, смотрел, смотрел так долго, что не в состоянии был заметить мгновения, когда это пятно вдруг получило сходство с женским лицом; это не было живое лицо, но это не было также мертвое лицо, но оно *было*, было каким-то неопределенным, запредельным... да-да, это было *запредельное* лицо, хотя ты даже и теперь не знаешь, что это за предел, преодолев который, это лицо стало для тебя единственной явью, какую границу, заветную черту переступил ты, чтобы его увидеть. Видеть его было мукой. Видеть его было наслаждением: оно было прекрасно и безмятежно...

Возможно, так нарождается свет. И, содействуя взглядом его народжению, ты вдруг понимаешь, ни на мгновение не ослабляя луч своего взгляда, тянущийся к этому мучительно-знакомому лицу, что свет есть порождение тьмы, последняя степень ее сосредоточения на себе самой, что в одном ряду с этим – народжение жизни из смерти, возникновение сущего из пустоты, нечто из ничего.

2

...Ты помнишь еще, что видел во сне себя спящим, в большом деревянном доме о дюжине комнат, полных людей. Всё это были существа знакомые и не очень. В

том, как они появлялись на пороге просторной комнаты (ох уж эта твоя любовь к пространству и воздуху!), где ты лежал в забытьи на огромной кровати, неизмеримо высокой, как у принцессы в сказке Андерсена; в том, как они топтались, то делая нерешительные шаги по направлению к тебе, то вновь отступая, чувствовалось какое-то глухое беспокойство. «Почему он так долго спит? Не заболел ли он? Дышит ли? Жив ли вообще?» – сквозило в их взглядах и в тех нарочито незначущих фразах, которыми они обменивались. Шорох беспокойства витал по всему дому, проникая из комнаты в комнату. И только одна женщина, казалось, не замечала этой всеобщей обеспокоенности в твой адрес.

– Ты знаешь, ведь он до сих пор еще спит, – уведомляют ее добрые люди.

– Ну и что? Пусть себе спит на здоровье, – отвечает она.

– Да, но столько времени прошло... И потом, мы заходили к нему, громко переговаривались возле кровати, даже пытались разбудить – всё напрасно.

– Чем я-то виновата, что он так крепко спит?

– Ты не виновата, но мы ждем, что ты придешь нам на помощь.

– Как это?

– Ты должна разбудить его.

– Но ведь вы уже пытались. Почему вы думаете, что у меня получится?

– Мы не уверены в этом, но тебе всё-таки тоже следует попробовать.

– Ну, хорошо, – устало соглашается женщина. – А где он?

– В большой комнате с высокой кроватью.

– Хорошо, я пойду и разбужу его, но избавьте меня от столь многочисленной свиты...

И вот она, в кисейном летнем платье, идет через анфиладу комнат, сквозь людской коридор, пока не оказывается рядом.

– Послушай, Август, они хотят, чтобы ты проснулся, – произносит она с интонацией детской требовательности, но, помимо этой требовательности, в голосе ее слышатся досада, смущение и нежность.

И ты открываешь глаза, видишь перед собой ее светлый силуэт, который тает... тает... и наконец растворяется в рассеянном свете утра. Ты закрываешь глаза и вновь видишь ее перед собой; ты пытаешься запомнить это светлое платье, блеск ее волос, непринужденную и чуть угловатую позу, склоненное набок лицо, взгляд. Но картинка тает; как ты ни сжимаешь веки, тебе не удастся воспрепятствовать ее исчезновению; остается пронизанное солнцем пространство большой комнаты в большом доме, но и пространство это тает, рассеивается, и только высокий голос еще звучит в ушах: «Они хотят, чтобы ты проснулся». И ты просыпаешься. Но зачем им было нужно, чтобы ты непременно проснулся? Какие вздорные люди – вздорные, ограниченные и несносные в этой своей озабоченности! Зачем она их послушалась?..

3

Одним из настоятельнейших «материалов» сновидений является сам мотив сна: женщина пытается пробудить тебя ото сна, в который ты погружен так глубоко, что даже ей не сразу это удастся. Ты пытаешься вспомнить его содержание, ты даже углядел в нем некую всадницу, ты напрягаешь какие-то свои тайные способности, благодаря которым надеешься вспомнить, – и вдруг действительно вспоминаешь, не сразу, а по каким-то неуловимым ниточкам образов вытягивая пережитое во сне из подсознания.

Ландшафт сновидения представляет собой унылый смешанный лес, в котором ты живешь так долго, что всё, что случилось с тобой прежде, кажется тебе происшедшим не с тобой, а с кем-то другим. Палая листва, дожди, грязь под ногами, устоявшееся ощущение непреодолимой сырости; постоянный озноб, воспаленные глаза и горло говорят о болезни, но не она беспокоит тебя. Ты уже не веришь, что когда-нибудь выберешься из этого леса, хотя он вовсе не бесконечен, – там, за оврагом, начинается поле, по краю его бежит дорога, и если пойти по ней, то можно прийти туда, где живут люди, где стоят дома, в которых есть огонь, тепло и хлеб. Но тебе нет места среди этих людей; не то чтобы твое появление среди них грозило тебе гибелью или каким-то невообразимым позором, как если бы они отлучили тебя от общины вследствие какого-нибудь совершенного тобой преступления, заклеив навек страшным проклятием; нет, ты сам ушел от них в этот холодный и сырой лес, где потерял счет времени; пожалуй, ты готов был бы забраться в свой шалаш, укрыться листьями и уснуть так, чтобы больше никогда не встать, но одна странная забота не дает тебе упокоиться: каждый день ты для чего-то ходишь через овраг к дороге, словно ждешь гонца, который принесет тебе весть о чем-то таком, благодаря чему жизнь твоя должна будет измениться в корне, и ты оставишь наконец свою берлогу в лесу раз и навсегда. Хотя что это будет за весть, от кого она будет исходить и куда ты отправишь свои стопы, когда получишь ее, – ты не то что не знаешь, но и предположить-то не можешь. Более того, ты даже почти уверен в том, что никакого гонца и никакой вести ни от кого тебе не дождаться, что этот твой шалаш рано или поздно станет для тебя чем-то вроде усыпальницы; да и идти тебе некуда и незачем, но что-то – не столько надежда, сколько робкое, но неискоренимое сомнение в

безнадежности твоего положения – заставляет тебя каждый день преодолевать сырой овраг, слушая чавканье чобот в грязи, задыхаться, цепляться задубевшими пальцами за голые прутья кустов, подниматься к дороге и, скрывшись в канаве от случайного взора, смотреть воспаленными глазами на пустое поле, на дорогу, на лужи и слепое небо, чтобы потом пробираться назад, к себе, возиться с костром и, так и не обсохнув как следует, завалиться в свою берлогу до вечера, а то и до завтрашнего утра.

Этот унылый, вязкий, безнадежный сон тянется очень долго, так долго, что внезапное появление возле шалаша всадницы на сером коне (ты видишь ее через лаз в шалаше) воспринимается тобой именно как видение. Она спешивается, направляется к шалашу, зовет тебя по имени, которого сам ты не можешь вспомнить, и ты с тем большим рвением готов откликнуться на зов и выйти ей навстречу, что подразумеваешь под происходящим какую-то шутовскую игру, как если бы само сновидение решило поразвлечь тебя, смирившегося с непроходимой тоской этой твоей жизни в лесу. Но подняться на ноги тебе удастся далеко не сразу; ты пытаешься остановить женщину тем, что выкликаешь ей в ответ что-то бодрое, но вдруг обнаруживаешь, что издаешь лишь сиплые лающие звуки. Всадница останавливается, словно услышав их, и, отвернувшись, ждет, когда ты выйдешь ей навстречу. Наконец, справившись с наплывающей на глаза мутью и дыша широко раскрытым ртом, ты выходишь наружу и стоишь у лаза, держась за кол, один из тех, на которые опирается постройка, служившая тебе домом много лет. Гостья говорит тебе что-то, но ты не слышишь; тогда она садится на своего серого коня и предлагает тебе сесть рядом. Как ни очарован этим видением, ты отрицательно мотаешь головой; женщина понимающе кивает и шагом направляет коня в обход оврага,

к дороге, поминутно оглядываясь, не отстал ли ты. А ты поспешаешь следом за всадницей, озабоченный лишь одной мыслью: как бы не упасть у нее на глазах; ты сдерживаешь дыхание, чтобы она не услышала твоей одышки; тебя кидает из стороны в сторону, но ты не спускаешь глаз с ее капюшона, чтобы, когда она опять вдруг обернется, встретить ее взгляд с выражением достоинства и приветливости. Вдруг начинает как-то очень скоро темнеть, и всё дальнейшее скрывается в каком-то тумане. Впоследствии ты припомнишь, что вы шли по дороге довольно долго, она впереди, ты – немного отстав, затем как будто снова начался лес... и ты шел за нею вопреки обмороку, который окутал твое сознание непроницаемым облаком. Правда, прежде чем ты окончательно пришел в себя, память успела смутно отпечатлеть на своем экране высокий деревянный дом, стоящий как бы в самом лесу; ты не помнил, вела ли к нему дорога, аллея, тропа... если что-то подобное и было, то она, вероятно, была занесена опавшей листвой, либо ты ее попросту не заметил. В памяти осталась какая-то очень длительная, непомерно растянутая во времени, картина этого дома, словно с каждым твоим шагом и шагом лошади, несшей на себе всадницу, облаченную в черное домино, дом тоже делал шаг, отступая от вас. Кажется, здесь снова сгустились сумерки прострации, словно ты спал и словно видение, в котором были лес, всадница, дом, сменился сном без сновидений, и ты проснулся оттого, что кто-то низко склонился над тобой. Увидев, что ты пришел в себя, женщина в черном выпрямилась, внимательно взглянула в твои глаза своим серым и каким-то очень серьезным взглядом и произнесла, кивком указав на высокий кубок, который оказался у нее в руках:

– Выпей это.

Кубок был очень тяжелым, но когда ты, не отрыва-



ясь, опустошил его, то почувствовал удивительную легкость и скоро вновь погрузился в сон, еще слыша ее голос, говоривший:

– Ты будешь спать крепко. Ты отдохнешь. Ничто не будет тревожить тебя – ни мысли о будущем, ни видения прошлого. Спи.

И ты уснул мертвым сном, тебе не снилось совершенно ничего, ты спал так безмятежно, так крепко, как если бы ты умер, но ты был жив и знал это в своем мертвом сне, как знают о собственном дыхании бескрайние просторы, как знают о нем большие деревья, чьи ровные стволы способны рассеять самые свирепые бури и самые дикие ветры, как будто это не мягкое дерево, а твердый камень. Да, ты спал долго, спал здоровым, глубоким и счастливым сном, ни о чем не помня, даже о всаднице, которая была для тебя воплощением этого счастья, спал сном ребенка, тая в глубине души прекрасное знание о своей защищенности, о том, что ничего дурного с тобой случиться не может, пока ты спишь в этом прочном деревянном доме, хотя и о нем ты не помнил совершенно, как нет в нас памяти о том, что действительно и безусловно есть, что переживается нами без остатка, полностью. Проснулся ли ты когда-нибудь, восстал ли от этого сна? Или ты до сих пор спишь, а всё остальное, те видения, что тревожат эти страницы, – лишь предыстория этого сна?

4

– Тайна она ведь на то и тайна, чтобы быть скрытой, и всякое разоблачение сродни ее выхолащиванию; раскрытие тайны есть ее убийство, вне зависимости от того, насколько нам необходимо – и необходимо ли вообще? – добраться до сокровища, которое скрыто под ее мерцающим покровом. Может быть, в тайне именно и важен этот покров – и важен, у меня есть такое подозрение,

гораздо больше, чем то, что под ним таится.

Говоря это, ты оглядываешь аудиторию, невольно выискивая среди множества глаз те, кому адресованы твои слова... да, та юная женщина в шелковом плаще, с капюшоном на плечах... Вдруг она поднимается с тяжелой скамьи и, улыбнувшись остальным и тем самым как бы сообщив своему поведению нечто обыденно-естественное, приближается к кафедре.

– У вас какой-нибудь вопрос? – спрашиваешь ты.

– Да, у меня вопрос... – девушка уже совсем рядом, и вдруг она переходит на скороговорку, на шепот, сопровождая его выразительным блеском темных глаз:

– Боюсь, вам угрожает опасность, доктор, – произносит она. –

– Полноте...

Но она не дает тебе закончить фразу; обернувшись и вновь одарив аудиторию прекрасной улыбкой, она продолжает прежним ясным спокойным тоном:

– Но как же тогда быть с чистым сообщением, когда отношения между собеседниками состоят в том, что один из них заинтересован в той информации (или тайне), которую другой хочет передать первому, как у нас с вами... – и снова жаркий шепот скороговоркой: – Почему вы мне не верите? Если вы промедлите еще хотя бы минуту, боюсь, мы никогда вас больше не увидим...

– Но отчего вы думаете... – в полный голос говоришь ты, словно и впрямь собираешься отвечать на вопрос о собеседниках.

– Вы неисправимы. Взгляните же в окно!..

Склонив голову к плечу так, как если бы вопрос девушки вдруг озадачил тебя, смотришь косвенным взглядом в окно: там, на дороге, ведущей по белой равнине оснеженного поля к большому дому, в котором проходит лекция, дому, чье пространственное одиночество усугублено полным отсутствием всяких иных построек и даже

деревьев на несколько верст вокруг, – ты видишь черную карету, запряженную четверкой лошадей, на козлах и на запятках которой громоздятся перехваченные крест-накрест широкими ремнями торсы дюжины солдат. Карета приближается к дому так скоро, что, приглядевшись, уже можно различить лицо Понтифика, склоненное к стеклу каретного окна и глядящее, кажется, прямо в тебя. Медлить нельзя. Ты благодарно смотришь в темные чуть расширенные глаза девушки, в которых стоит восклицание: «Что я вам говорила! – и, одновременно, упрек: – А вы мне не верили!». Незаметно для прочих ты благодарно пожимаешь ей руку и отчетливо произносишь:

– Признаюсь, своим вопросом вы несколько опередили ход моих чтений, но, будем надеяться, во время нашей следующей встречи у нас будет достаточно времени удовлетворить вашу похвальную любознательность. А пока позвольте поблагодарить всех присутствующих за внимание и попрощаться с вами...

Произнося эту пошлую тираду, ты рассовываешь листочки, разбросанные на кафедре, по карманам. В помещении становится шумно: приглушенные голоса, незначащие фразы, шелест распрямляемого платья, шорох убираемых принадлежностей для письма, – но сквозь этот внешний шум ты отчетливо слышишь, как стукнула дверка кареты, как заскрипели по снегу лощеные сапоги, как хлопнули отворившиеся входные двери, и вот уже множество ног затопали по ступеням лестницы. Ты невольно делаешь несколько шагов назад к кафедре; твои слушатели, сомкнувшись у выхода на лестницу, создали неожиданную преграду для тех, кто поднимается им навстречу; уже слышно, как студенты трунят над солдатами, те, вероятно, тушуются, чувствуя себя не в своей тарелке и понимая, что вечное противостояние служби-

стов и школяров – по крайней мере численно – в настоящую минуту в пользу последних, тем более что между ними столько юных женских лиц. Воспользовавшись заминкой, ты быстро идешь к окну, но натыкаешься на черный пустой всезнающий взгляд стоящего возле кареты Понтифика; легкая дрожь пробегает по телу, ты лихорадочно ищешь глазами, где бы ты мог спрятаться и, не находя такого места, решаешься на единственно возможный, хотя и весьма рискованный ход: скорее смешаться с толпой студентов и вместе с ними выбраться из дома, а уж дальше действовать по обстоятельствам... но тут снова видишь перед собой теплый и темный блистающий женский взор, и глаза эти указывают тебе на люк в потолке. Путаясь в платье, ты поднимаешься на чердак, через слуховое окно перебираешься на крышу; поскользнувшись, падаешь, но успеваешь ухватиться за конек. Внизу – карета, группа студентов, вот кто-то заметил тебя и изумленно вскрикнул; множество лиц, как по команде, обращаются к тебе, и среди них – *то* лицо, *те* глаза; они словно бы придают тебе сил, ты подтягиваешься на руках, встаешь на ноги, но в этот момент на крыше появляется первый зеленый мундир, второй лезет по приставной лестнице, дом окружен и участь твоя предрешена: поймать тебя этой ораве бравых молодцов не составит труда, бежать же тебе совершенно некуда. Тогда ты, балансируя, встаешь в полный рост на самом коньке крыши, расправляешь плечи, набираешь полную грудь воздуху и, словно подчиняясь какому-то таинственному голосу, ставишь ногу на невидимую воздушную ступень, затем делаешь еще шаг, еще, еще, ты поднимаешься все выше и выше, видя под собой тупые растерянные землистого оттенка лица солдат, маску Понтифика с застывшей кривой ухмылкой, видишь толпу твоих учеников и темный конус капюшона, под которым таится взгляд, ради которого мгновение назад ты готов был

низринуться вниз, – но все это с каждым шагом отодвигается от тебя, остается все дальше внизу, а ты продолжаешь восходить в белую прозрачную пустоту, еще различая под собой черный прямоугольник особняка и точки людей на снегу, пока наконец белизна твоей пустоты не вбирает тебя целиком, и ты уже не видишь ничего, кроме этой удивительной сияющей белизны...

Так вот откуда взялся тот дом, куда тебя приведет потом всадница на сером коне! – догадка, словно ярчайший разряд, вспыхивает в твоём сознании. Так вот когда был заложен первый камень твоего будущего возвращения в дом, который ты только что покинул столь сверхъестественным образом!..

5

Ты все время пытаешься спутать нити, смешать карты, ввести в заблуждение... да нет же, просто это такое кино: один эпизод идет на смену другому, а ощущение протяженности – или их единства, приуроченного к жизни твоей или чьей-то еще, – должно сложиться из этого чередования. Что ж, расположим среди заснеженного, синееющего, меркнувшего необозримого поля, вроде того, которое ты оставил вместе с особняком, уйдя от них по воздушным ступеням ввысь, – расположим здесь большой павильон, вполне, на сей раз, летнего свойства; посыпем гравием – или чем там еще их посыпают? – дорожки для бегов; сколотим трибуны вокруг; заставим какую-то часть их изящными круглыми столиками с полированными столешницами красного дерева; разместим за ними общество: дам и барышень в белых платьях, с яркими зонтиками от солнца (столько белого цвета, что когда солнце заглядывает под навес, становится больно глазам); мужчин – чиновных, с бородками клинышком и нафиксатуренными усами, молодых людей в светлых

фраках и с высокими воротниками поверх шейных платков или скрепленными бабочками; военных в цветастых мундирах, украшенных позументами, аксельбантами, эполетами, пускающими солнечные зайчики, и, как правило, с небезупречной формы ногами в белых лосинах... – как ты-то оказался среди этой, с позволения сказать, избранной публики? – словно не было бегства от солдат и Церкви, которые, преследуя тебя, действовали не столько от своего собственного имени, сколько от имени общества в целом. А между тем – вот он ты, один среди многих, даром что ни аксельбант, ни звезда не украшают твоего наряда; он прост, впрочем хорошо пошит – свободный летний костюм из серой ткани, ворот легкой сорочки из тонкого полотна открыт и не нуждается ни в галстукe, ни в шейном платке, да и весь твой вид, твое беззаботное одиночество с какой-то невольной и пустоватой улыбкой на губах, ни к кому в отдельности не обращенной, но блаженно-рассеянно адресованной всему и вся – публике, дамам, солнцу, зеленой траве, лавирующим между столиками кельнерам в безукоризненно вычищенных сюртуках, к синему вину в графине, к бабочкам-капустницам, прилетающим со стороны зеленого поля, – все в тебе настроено на какой-то непривычный благодушный лад, как если бы тебя долго не было, но вот ты вернулся и застал общество в том виде, в каком оставил.

Ты с легкостью узнаешь прежних знакомых, да и они, судя по равнодушно-приятным улыбкам, готовы приветствовать тебя, словно бы твои черты им кого-то напомнили, но они не могут поручиться с точностью – кого именно; в общем, все вполне безоблачно, в меру светливо, в меру торжественно и сдержанно-отчужденно, по-светски, как бывает, когда общество слишком многолюдно, но и вполне домашне, где все друг друга знают

или по крайней мере уверены, что те, с кем они не знакомы лично, знакомы с их знакомыми, и что стоит перекинуться с господином за соседним столиком парой слов, как выяснится, что мир чрезвычайно тесен, что в нем совершенно невозможно сохранить инкогнито, если это по-чему-либо покажется тебе необходимым, не прибегнув к маскарადу (впрочем, воспользовавшись необычной экипировкой, ты добьешься совершенно противоположного результата, обратив на себя излишне пристальное внимание, и тем самым выдашь себя с головой, породив лишние толки и вопросы, типа: «что же такое случилось с гном N, если он решил явиться в обществе в столь загадочном и экстравагантном виде?»); в общем, все вполне прилично, обычно, приемлемо-безупречно, в рамках усвоенного всеми уклада, как вдруг...

Что это?.. дамы конфузятся, закрываются зонтиками, некоторые демонстративно покидают павильон, сопровождаемые более или менее многочисленной мужской свитой... раздаются приглушенные, но вполне явные возгласы: «Какая наглость!», или «Да как они смеют!», или же «Как я неравнодушен к эксцентричным зрелищам!», или «Но ведь это скандал!», или «Подобные люди всегда были для меня загадкой»... – да что там такое, в самом деле? Из любопытства ты оборачиваешься на вдруг раздавшиеся за спиной рукоплескания (так рукоплещут в театральных креслах мужчины с целью поддержать своих явных или тайных пассий на сцене или же дать понять другим мужчинам о неких особого рода отношениях, завязавшихся с восходящей или устоявшейся сценической звездой) и видишь несколько наездниц, спешивающихся возле широкой лестницы, ведущей на помост павильона: военные восторженно придерживают коней, статские снимают шляпы в восхищении перед амазонками; твоя рассеянная и, вероятно, глуповатая улыбка становится шире, но через мгновение застывает

на лице: да, это она, ты узнаешь ее с первого взгляда, ту, что была когда-то девушкой с темным взором, которая указала тебе на люк в потолке, когда солдатские сапоги уже стучали по ступеням лестницы, ведущей в аудиторию. Словно почувствовав впечатление, какое она на тебя произвела, молодая женщина в амазонке поворачивает голову в твою сторону и легким, едва заметным кивком сообщает тебе, что конечно же тебя узнала, что рада тебя видеть и еще более рада тому, что ты жив-здоров и, судя по тому, что ты здесь, вполне благополучен в эту минуту, что она сейчас освободится от своих поклонников, наградив каждого из них словом, взглядом, улыбкой или тем особым неопределенным жестом, который каждый, кто в этом нуждается, может принять как адресованный именно ему и никому больше, – и тогда вы сможете поговорить; да, действительно, избавившись от свиты, но как бы все еще улыбаясь ей, молодая женщина идет к твоему столику, ты поднимаешься ей навстречу, подвигаешь стул и садишься напротив.

– У меня с утра было предчувствие, что должно случиться что-то замечательное, – говорит она, прикоснувшись на мгновение к твоей руке. – Что же ты молчишь?

– Что?.. да нет, я не молчу...

– Тогда что же ты говоришь мне?

– Говорю, что у меня не было никакого предчувствия, но я знал, что встречу тебя.

– Почему же ты знал это?

– Я искал тебя, искал давно, и рано или поздно это должно было произойти.

– Ну, и когда же это произошло: рано или поздно?

– Я не знаю. Думаю, что поздно.

Небольшая пауза. Уже без улыбки она заглядывает тебе в глаза.

– Ничего не бывает «поздно». Бывает или то, что есть, или то, чего нет, последнее всегда странно и больно.



Поэтому если что-то меняется в отношениях между людьми, то чтобы не доставлять боли, лучше предоставить событиям развиваться своим чередом. А ты, мне кажется...

– Ты не ошиблась. Я вижу, что ты теперь счастлива, что ты была бы так же счастлива, если бы меня не было среди этого сброда.

– Ну вот, ты сердисься, – вновь улыбается она. – Я ждала дня, когда мы снова встретимся, когда мы сможем беседовать вот так свободно и запросто, как сейчас. Даже если нам помешают, это не сможет ничего испортить... разве что мы сами не испортим этот чудесный день.

– Испортим, – мрачней, говоришь ты. – То есть это я испорчу.

– Стоит ли это делать? – все еще улыбается она.

– Не знаю. Я только одно знаю, что хочу, чтобы ты была рядом.

– Но ведь я рядом...

– Я вижу... но я хочу... я не могу не хотеть этого... чтобы ты была рядом всегда...

Улыбка на ее лице гаснет. Она не отвечает ни слова, а только смотрит тебе в глаза с каким-то жалким выражением.

– Да, ты все испортил.

– Пусть. Мне легче знать, что ты не любишь меня, чем...

– Я люблю тебя. Но послушай, милый... – ее голос отодвигается куда-то, твой слух застилает какой-то шумовой туман; единственное, что ты в состоянии теперь слышать – так это тяжелые удары твоего сердца. Ты продолжаешь глядеть на ее прекрасное лицо, которого не помнишь, – помнишь, может быть, жесты: как она опускает глаза, увещательное движение губ, прикосновение холодных пальцев – мимолетное – к тыльной стороне

твоей руки, мертво лежащей на столе, но ничего не слышишь, кроме ударов крови в сердце и висках, и чувство безнадежной, сосущей, изнурительной пустоты овладевает тобой, это ощущение полной катастрофы, бессмысленности всего, что происходило с тобой прежде и что случится тебе пережить в будущем, ставшая вдруг очевидной зрящность, напрасность этого прекрасного дня, твоей свободы, твоей любви и даже этого теперешнего чувства пустоты. Всё вокруг, даже лицо напротив, словно подергивается мрачноватой вуалевой дымкой, меркнет, как бывает во время солнечного затмения, но подступившие вдруг сумерки не только не рассеиваются, а сгущаются, грозя превратиться в сплошной мрак. Словно желая воспрепятствовать этому, ты силишься раскрыть глаза как можно шире, но света вокруг не становится больше, а веки напиваются какой-то странной тяжестью, как если бы они представляли собой тоненькие деревянные дощечки, как у куклы... Наконец, когда зрение возвращается к тебе, ты с каким-то унылым облегчением обнаруживаешь, что сидишь один за столиком в павильоне, что все куда-то ушли и только угрюмый метрдотель смотрит на тебя исподлобья; да, пора и тебе уходить, все кончено, все ненужно, лишне и как-то ужасно утомительно... Ты лезешь в карман за ассигнацией, кидаешь ее на поверхность столика, поднимаешься, слишком резко отодвинув стул, так что едва удерживаешься на ногах; подскочивший кельнер как бы задним числом подхватывает тебя за локоть, что-то быстро бормоча, но ты не слышишь, и лишь когда он переходит на страстную скороговорку, останавливаешься, тупо глядишь на него, пытаешься вслушаться в этот жаркий и жалкий лепет, и различаешь слова: дама... ушла... письмо...

– Какое письмо? – спрашиваешь ты, преодолевая свинцовую тяжесть языка.

– Ja, ja... der Brief... the letter... epistola, с позволения

сказать, – продолжает нести свою тарабарщину кельнер, пока ты не заметишь, что вот уже несколько минут, как он пытается сунуть тебе в руку конверт. Ты вертишь конверт в пальцах, сбегаешь по упругим ступеням к темнеющему коридору аллеи, останавливаешься, вдруг поняв, почему официант был так многословен, запускаешь руку в карман и с деньгами в руке поворачиваешься: кельнер плачет, сидя на ступенях; ты возвращаешься, кладешь деньги рядом с ним, он, увидев их, вытирает слезы; всхлипы сменяются столбняком, который, в свой черед, разрешается приступом горячей признательности. Ты морщишься, идешь прочь, но, слыша за спиной семенящие шаркающие шаги кельнера, его слабый подобострастный голос, захлебывающийся в словах благодарности, оборачиваешься и в гневе кричишь на человека, почти рычишь; он замирает на месте; слезы на раскрасневшемся лице; он так и стоит, не двигаясь, в начале аллеи, словно намереваясь остаться здесь навсегда...

Ты вспомнишь о письме лишь на следующий день, под вечер, проснувшись в какой-то гостинице, о которой даже не помнишь, как ты в ней оказался...

*Мой милый!*

*Мы все привыкли думать, что нужны кому-то или что нам кто-нибудь нужен. Кажется, это так просто, так естественно, что так и должно быть. А между тем это заблуждение. О нет, я вовсе не хочу вразумлять тебя или себя. Я нужна тебе, говоришь ты. Ты нужен мне, в тон тебе отвечу я. Ну и что? Пусть это правда, но какое это имеет отношение к тому, что мы чувствуем друг к другу? А что мы чувствуем? Любовь?..*

*Это не совсем так, и ты знаешь это. Нас связывает нечто большее. Судьба поместила два наших существования, твое и мое, настолько близко одно к другому,*

*что взглянуть со стороны – и мы с тобой похожи на близнецов. Если бы можно было ограничиться этим сравнением! Мы ближе друг к другу, чем какие бы то ни было близнецы, мы так близки, как бывает близко человеку лишь то, что он называет своей душой. Мы нераздельны, мой милый. Кажется, все это как раз и говорит в пользу того, чтобы нам и впрямь соединить свои жизни в одну. Но зачем делать то, что уже было сделано кем-то без нас и, кажется, до нас? Все наши мучения проистекают из того, что мы настолько едины, что можем вполне обходиться друг без друга. Да, это очень странно! Но ты лучше меня, женщины, знаешь, что это так. Так для чего нам действовать наперекор тому, как мы созданы? Ведь это был бы не столько ад, сколько какая-то блаженная тюрьма, в которой страж мало чем отличается от заключенного. Что хорошего случилось бы, если бы мы соединились? Мы бы съели друг друга, как две змеи на восточной эмблеме, пожирающие одна другую...*

*Я не хочу ничего утверждать бесповоротно, но ты ведь и сам знаешь, что наша с тобой жизнь возможна будет лишь тогда, когда мы отделимся друг от друга настолько, что перестанем быть взаимными отражениями. Ведь какая другая цель может быть у того, кто создал нас едиными, но разделенными? Давай не будем спешить и доверимся тому, кто нас создал, кто столкнул наши жизни и кто ведет их каждую по отдельному пути.*

*Я люблю тебя. Я хочу всегда быть рядом с тобой. С тобой я счастлива и мне никого и ничего уже не нужно. Я сама хочу этого, да. Меня не пугает, если я погибну вместе с тобой или погибну, служа тебе всем своим существом, но ты... ты не должен желать такой нашей близости – меньше всего потому, чтобы это было чем-то греховным, как кровосмешение (хотя это кровосмешение, это больше, чем кровосмешение!), но просто по*

*той причине, что, как мужчина, ты наделен духом и назначением; первый должен быть воплощен, а второе осуществлено в сфере, которая враждебна нашему родству. Что же касается меня, то я, как женщина, заинтересована в том, чтобы ты с достоинством выполнил свою задачу – для меня это значит, возможно, даже гораздо больше, чем для тебя самого.*

*Так что же произошло между нами? Ничего не произошло. Ты позволил себе слабость и каприз, и на это у тебя были все основания. Если бы я потворствовала тебе, ты мне сам не простил бы этого, в глубине души понимая, что тогда я создала бы для тебя тюрьму, и ты в этой тюрьме погибнешь. Но я не могу желать твоей смерти, ведь все, что я люблю в этом мире, есть ты. Не ищи меня, я сама найду тебя тогда, когда это станет нам снова необходимо, когда ты сделаешь все, что тебе надлежит совершить.*

*Твоя...»*

Только ты, Август, мог бы написать такое, если бы родился женщиной. Глубокий стыд овладевает тобой: о, как же она права, упрекая тебя в слабости! Или ты и в самом деле возомнил, что способен обладать чем-то, тобой не созданным? Ведь о чем же она и говорила, как не о том, что материал тебе не принадлежит, что ты лепишь свой «пепел» из воска, выработанного кем-то другим, помимо тебя, помимо всего, к чему приложимо местоимение *твой*, а оно приложимо (да и это, друг мой, под вопросом) лишь к твоему страданию, к степени твоей собственной затраты на то, что не может существовать без твоего участия. Впрочем, даже и это не принадлежит – ничего не принадлежит. Убедиться в этом не составит труда. Вечером того же дня ты отправишься к павильону разыскивать давешнего кельнера, и на твои вопросы, заготовленные на случай, если его не окажется на месте

(возможно, он работает в другой смене или у него выходной), о том, где ты можешь встретиться с ним, где, как и с кем он живет (ты почти не сомневаешься в том, что у него многочисленное семейство и тяжело болен кто-нибудь из близких – мать, брат, сестра, жена, ребенок), – на эти твои вопросы некому будет ответить, так как никакого павильона в конце аллеи не будет и в помине – ни столиков, ни деревянного настила, ни трибун, ни черно-зеленого поля ипподрома – ничего; эпизод снят, декорации разобраны, увезены...

6

... Вместо них – огромный странный зал, заставленный гигантскими геометрическими фигурами, сродни элементарным строительным кубикам, призмам, цилиндрам и шарам из строительного конструктора для дошкольного возраста, взятых в увеличенном во множество раз виде, – род декораций, видимость интерьера, который, несмотря на свою примитивность, весьма прихотливо организует пространство, особенно если принять во внимание длинные тени, отбрасываемые поставленными на пола фигурами, – «юпитеры» находятся чуть выше уровня пола, и очень белый, падающий на персонажей свет, окрашивает их лица в несколько мертвенный тон, с примесью фиолета от контрастного соприкосновения освещенных поверхностей лиц, рук и т.д. со слишком черными провалами теней.

Персонажей в интерьере, собственно, четверо; их объединяет белая ромбообразная поверхность поваленной призмы, которая может быть истолкована как воплощение платоновской идеи обеденного, игрального... короче, вообще стола, по сторонам которого и разместились участники застолья. Общее впечатление тревоги в доме, как на известной картине, вдруг – после того, как кто-то

невидимый крикнул «мотор!» и с каким-то зверским грохотом выстрелила хлопушка, – разрешается женским плачем, полным такого отчаяния, что не только у актеров на площадке, но и у всех участников киногруппы продирает мороз по коже.

– Милая, я не вижу причин, почему ты плачешь, – наконец выговаривает трясущимися губами широкоплечий мужчина средних лет, в дорогом пиджаке (хотя надо бы всем трикотажную униформу) и с просвечивающей проплешиной на макушке.

– Ах, не нужно, вовсе не нужно так расстраиваться! – подхватывает невысокая женщина с удивительно правильным носом и со стрижкой под мальчика.

Две эти бестолковые реплики кажутся совершенно неуместными; первая женщина продолжает заливаться слезами, насколько вообще возможно при таком горе это слово: «продолжает». Это не лающие рыдания обезумевшей от скорби женщины, не отвратительная влага человека, чья жалость к самому себе достигла наивысшей степени; это не бесконечные женские слезы, вызванные физиологической необходимостью выплакаться; не плач по понесенной утрате, в котором заключена совершенная безнадежность восполнить ее чем бы то ни было; это не горе существования, вдруг уяснившего свою абсолютную незащищенность перед безумием и зверством мира, и, конечно, не внезапные и необъяснимые слезы, навернувшиеся сами собой, беспричинно, просто в силу какого-то безотчетного движения внутри, вдруг всколыхнувшего душу, – нет; женщина плачет как плачет ребенок, без всякой оглядки на приличия, на окружающих, на самое себя, на то, что послужило или могло послужить причиной подобного состояния, без подсознательного поиска обидчика и обиды вообще, без жалости к себе или подспудного желания спрятаться в собственном горе, – и каждый всхлип, каждое задыхание доставляет тебе, четвертому,

такую муку, что кажется легче умереть, чем выносить этот плач.

– А ты – что же ты ничего не скажешь?! – упрекает тебя другая женщина, с таким видом, словно у нее есть право на подобный упрек. Впрочем, у нее и в самом деле есть основания чувствовать за собой это право, так же как у лысеющего господина в дорогом пиджаке есть право требовать у плачущей объяснений, – то право близости, долгой совместной жизни, супружества наконец. Ну да, ну да, вспоминаешь ты, этот господин женат на той, к кому ты испытываешь чувства гораздо более сильные, чем любовь или желание близости, а эта невысокая женщина, с большими беспокойными глазами и со стрижкой под мальчика, – твоя жена или верная любовница. Может быть, поэтому ты так безучастен? А ты безучастен?..

– Пожалуйста, постарайтесь успокоить ее, – увещевает муж в пиджаке, обращаясь к тебе. – Теперь, разумеется, не время говорить об этом, но ведь вас когда-то связывали искренние отношения...

– Разве? – оборачиваешься ты к нему. – Вот уж не предполагал. То есть вы хотите сказать, милостивый государь...

Он машет в ответ руками и досадливо мотает головой.

– Вы неправильно меня поняли... Повторяю, теперь не время и не место... но я знаю, как высоко она вас ценит...

– В самом деле? И насколько высоко? – с любопытством осведомляешься ты.

– То есть я хотел сказать... – вконец теряется муж.

– Прекрати ломать комедию, – вмешивается твоя благоверная. – Сделай же что-нибудь, иначе... иначе я не знаю, что со мной будет!.. – у нее начинают истерически подергиваться веки.



– Да-да, постарайтесь, голубчик, придумайте что-нибудь, помогите нам всем...

Не отвечая, ты поворачиваешься к плачущей, бережно берешь ее голову в свои ладони. Припухшие губы, мокрый локон, слипшиеся ресницы, глаз не видно за пеленой слез.

– То, что тогда случилось...

Лицо женщины содрогается в твоих ладонях, глаза расширяются, как если бы она захотела увидеть того, кто говорит с нею.

– ...то, что случилось тогда, давно, случилось не только с тобой, но и со мной тоже... Ты узнаешь меня?

Едва заметное движение головы, вроде кивка. Краем глаза ты замечаешь, как господин в пиджаке уходит в сторону твою подругу, делая ей какие-то знаки.

– Ты узнаешь меня. Значит, ты знаешь, что и для меня это было не меньшим горем. Мы его вместе – слышишь? – вместе пережили. Я пережил это так же, как и ты. Взгляни на меня. Знаешь, почему я так спокоен?

Взгляд женщины проясняется, влага перестает наворачиваться на глаза. Она ждет ответа. Так почему же ты так спокоен?

– Потому что это не страшно, – раздельно произносишь ты, – потому что нет страха в том, что и кого мы любим, даже когда это уходит от нас. Слышишь меня?

Непослушные губы женщины начинают шевелиться, сияясь что-то произнести.

– Ты слышишь меня?

– Да, – наконец выдыхает она.

– Дальше все будет так, как ты хочешь.

– Я хочу... я хочу... я не хочу больше лжи...

– Хорошо.

– Не оставляй меня.

– Никогда.

– А как же они... все?..

- С ними тоже все будет хорошо...
- Тогда увези меня... поскорей...
- Да.
- Ты знаешь, куда?
- Знаю...

Ты чувствуешь, как усталые веки ее смыкаются, как тяжелеет ее голова в твоих ладонях. Ты осторожно кладешь ее голову себе на плечо, подхватываешь безвольное тело и на руках несешь ее с освещенной площадки сцены. Куда ты теперь, Август, со спящей на руках? На секунду ты останавливаешься, оглядываешься, словно пытаясь увидеть того, кто окликнул тебя по имени, но никого не видишь вокруг...

7

Разыгрывается ночь; круглые фонари освещают снизу гигантскую мертвую церковь с зарешеченными окнами, в которых чернеют кляксы выбитых стекол; какое-то здание рядом, с колоннами и портиком, вполне в духе провинциального губернского театра, с небольшим листовым парком... дорога, проходя между церковью и театром, круто поворачивает и спускается к реке, которой не видно – точно так же, как в теперешней нефильмовой действительности нет как нет этой площади между церковью и театром, нет театра, нет дороги – все поглотили речные воды, запруженные плотиной, а церковь стала островом, нижний этаж ее забетонирован, и она возвышается теперь над ландшафтом на манер часовни или усыпальницы, а не корабля, на который так походило некогда это высокое неуклюжее строение. Таким образом, действие происходит как бы вне случившегося некогда потопа, театр еще стоит, жив парк возле него, и мрачная церковь цела. Но ни души кругом, представление давно кончилось, театр опустел и, как храм Мельпомены, стал

своей покинутостью сходен с пустой церковью напротив. Но если взглядеться, перейти от общего плана к среднему, – два силуэта угадываются на дороге, твой и твоей спутницы: вы стоите друг против друга, ожидая чего-то, перебрасываясь незначущими фразами («Тебе не холодно?» – «Совсем нет». – «Но ты дрожишь... И ветер с реки...» – «Да нет, не беспокойся. Это не от ветра». – «Надень мой плащ». – «Спасибо, но это совершенно излишне: я не замерзла... вот, я даже уже не дрожу...»); дорога пуста, и впечатление, что вы можете так простоять до рассвета, если он наступит когда-нибудь; впрочем, даже если наступит, идти вам все равно некуда: так же, как всё, что не освещено фонарями, тает во мраке, площадь между двумя пустыми храмами – этими единственными зданиями – также единственна, города не существует, и этот оазис с дорогой – один-единственный на сотни верст вокруг (аберрация сознания: в действительности все как раз наоборот: есть довольно большой город вокруг, нет лишь этой площади и ваших силуэтов на асфальте – там теперь гавань), но, видно, вам ничего другого не остается, как просто ждать, что что-нибудь произойдет в этом пустынном месте через минуту, через час, когда-нибудь. И в самом деле: где-то далеко вдруг вспыхивают огоньки фар и вновь исчезают, как если бы невидимый автомобильчик преодолел подъем и стал спускаться в лощину; прислушавшись, можно различить отдаленный шум двигателя... («Ты тоже слышишь? Или у меня галлюцинации?») – с улыбкой спрашивает женщина. – «Ты, наверное, очень устала». – «Я ждать устала». – «Но ожидание закончилось...» – «Будем надеяться». – «Да нет, я уверен...»). Снова вспыхивают фары, шум двигателя становится отчетливей. Фургончик цвета ночи останавливается возле вас. Ты открываешь дверь в небольшое тускло-желтое пространство, помогаешь спут-

нице войти, усаживаешься напротив. Возница в замасленном свитере что-то говорит по поводу причины опоздания, сетуя на дорогу, на неисправности в двигателе («...и вообще – не тянет...»), осведомляется о том, удобно ли даме, просит позволения погасить свет внутри, трогается с места; фонари и площадь, церковь и портик театра растворяются во тьме; ты не видишь лица спутницы («Дай мне руку.» – «Зачем?» – «Мне будет спокойней: я буду знать, что ты не исчезла...»), нащупываешь прохладную узкую ладонь и глядишь, повернув голову, на бегущую в желтом свете фар дорогу. Вдруг тебе приходит в голову, что у тебя нет денег («Что-нибудь случилось?» – «Нет, все в порядке.» – «Но ты вздрогнул.» – «Тебе показалось...»); привычная мысль, что беспокоиться о деньгах следует лишь тогда, когда о них заходит речь, срабатывает, и ты успокаиваешься. На какой-то колдобине фургончик заносит, женщина инстинктивно вырывает ладонь из твоих рук, пытаясь сохранить равновесие. («Пардон», – произносит водитель. – «Ты не ушиблась?» – «Нет, все хорошо». – «Конечно, было бы лучше, если бы за нами прислали что-нибудь более комфортабельное...» – «Кто?» – «Не понимаю». – «Кто прислал бы?» – «Я полагал, что это ты распорядилась об автомобиле...» – «Вот как? – она весело смеется. – Так ты ошибся. Я и не помышляла ни о каком автомобиле вовсе». – «Тогда откуда взялся этот фургончик?» – Тебе кажется, что ты видишь, как она пожимает плечами в темноте. – «Спроси у водителя». – Ты смотришь на тень возницы впереди, ожидая ответа, а он и ухом не ведет, словно совершенно увлечен дорогой или же считает, что все это его не касается. – «Впрочем, какая разница...» – произносит твой голос, а голос спутницы соглашается: «Действительно, никакой.»)

Фургончик мчится по пустой дороге в ночи. Ты совсем потерял счет времени: как долго вы уже в пути? Четверть часа? Час? Два? Сутки? Вечность? – ответить на

эти вопросы невозможно, хотя никакого особого утомления от езды не чувствуешь, а только тяжесть неодолимой усталости, которая, впрочем, вряд ли стала несноснее той, когда вы стояли на площади в ожидании... в ожидании чего? не фургончика же, в самом деле!.. Поэтому, когда машина останавливается, ты с готовностью расплачиваешься с возницей, платишь ему сполна – не потому, что деньги большие, а потому что это все твои деньги; ты ожидаешь, что возница возмутится, скажет что-нибудь вроде того, что этих денег не хватит даже на горючее, израсходованное в дороге, но то ли он не разглядел достоинства купюры, то ли деньги при подобных обстоятельствах вообще не имеют никакого значения, кроме разве что чисто символического, обрядово-ритуального, – так или иначе, но он, удовлетворенно хрустнув банкнотой, даже благодарит. Его реакция избавляет тебя от чувства стыда перед твоей спутницей: нехватало еще, чтобы возникли препирательства из-за денег, и еще более невыносимо было бы, если бы она раскрыла свою сумочку с тем, чтобы восполнить сумму... Ты помогаешь ей выйти, фургончик разворачивается, очерчивая фарами желтый круг в темноте; двигатель взывает, как бы в знак прощания, и спустя минуту вы уже совершенно одни в полной темноте, которая, как могила, поглощает вас...

8

Вот белые стены внутри храма без купола, без крыши, как если бы они служили чем-то вроде огромного рупора, вроде гигантской квадратной трубы, направленной в открытое небо, чтобы Бог мог вживе слышать общую молитву паствы, многократно усиленную эхом, отраженным от стен, но... или это было очень давно, или что-то случилось с самой паствой, словно она рассеялась

по земле, предав запустению место, где Бог если и слышал обращенный к Нему хор, то не внял ему по причинам Ему одному известным (а если и внял, то ответил пастве чем-то таким, что паства не сумела понять как ответ и истолковала каким-то извращенным образом), – так или иначе, но эти огромные белые стены высятся среди пустоши, заросшей травой и кустарником, совершенно безлюдной, если не считать старой сгорбленной женщины в домотканом платье, дотащившей на спине свою вязанку хвороста до самых стен и свалившей ее в углу, примерно там, где когда-то располагался алтарь; да, эта старуха – единственное человеческое существо здесь, потому как назвать людьми тебя и твою спутницу, оказавшихся на карнизе одной из стен, на изрядной высоте, отделившей вас от земли, – просто не приходит в голову. На тебе офицерский китель... ты служишь?.. в отставке?.. или это форма маскировки?.. Всякий раз вторым зрением ты с нежностью отмечаешь тот невольный жест, каким возлюбленная убирает волосы с лица, хотя тебе должно быть не до того: ведь если вы не сумеете перебраться на противоположную стену, то ваше странствие закончится, прервется, чтобы не возобновиться уже никогда.

– Ты уверен, что это в наших силах? – спрашивает у тебя спутница. Ты делаешь вид, что не понимаешь ее:

– Что именно?

– Достичь противоположной стены.

– Можно попытаться. Во всяком случае, спуститься вниз мы не можем: под камнями пола тут бежит поток – слышишь?

– Да.

– А потому, ступи мы на эти камни – и мы исчезнем так же, как исчезли те, кто некогда молился в этом храме.

– Но эта женщина внизу, с вязанкой, ведь она чувствует себя в полной безопасности.

– Ты думаешь?.. – ты наконец в состоянии обратить

внимание на старуху и кричишь ей сверху: – Осторожней, любезнейшая, здесь очень ненадежное место!..

– Да знаю, знаю, господин хороший. Ненадежное, уж такое ненадежное! – старуха сокрушенно кивает головой. – Но тут, вот тут, – она с силой топает ногой, – тут надежно, тут со мной ничего не будет. А вы-то с барышней – уж не надумали ли вы по воздуху перейти?

– По воздуху? – отзывается ты, сияясь припомнить, где и когда мог видеть эту женщину внизу.

– Спустились бы, что ли. А я тут пока огонь разведу...

– Нам на ту стену нужно, – сообщает твоя спутница.

– Вот оно что, – отвечает старуха, переводя озадаченный взгляд на противоположную стену. – Не знаю, чем и пособить... Разве вот жердочки... а что? – возьмите жердочки, да по ним и идите. – Проследив за ее жестом, ты видишь длинные слег, стоящие в углу. Прикинув их длину, ты осторожно приближаешься к ним по карнизу.

– Будьте добры, подайте мне их.

Старуха со значением кивает, делает несколько сменяющих шагов в сторону слег, приподнимает их поочередно таким образом, чтобы ты мог втащить их на стену. Ты благодаришь старуху, но вдруг замечаешь, что ее уже нет внизу.

– Неужели она провалилась?! – поворачиваешься ты к спутнице.

– Да нет, – улыбается та, – она вышла через проем так же, как вошла... Ну, скоро ли, милый?

Не без труда ты укладываешь жерди одним концом между балясинами антресоли на противоположной стене, а ближайшим – на карниз, как можно плотнее прижимая торцы к выступу в стене; затем пытаешься стать на них, невольно сравнивая полученное сооружение с палочками, которыми китайцы едят свой вечный рис, или же с полосами железнодорожных рельсов.

– Как будто держат... – сообщаешь ты спутнице. – Не боишься?

– Не знаю, – отвечает она, убирая прядь.

Ты помогаешь ей стать сзади тебя, поворачиваешься в сторону противоположной стены, нащупываешь за спиной холодные любимые ладони, кладешь себе на пояс.

– Держись крепче.

– Хорошо.

Жерди прогибаются, раскачиваются с каким-то сухим постукиванием то ли о стену, то ли о столбики балюстрады на противоположной стороне. Шаг... другой... третий... – с каждым новым шагом слезы ходят ходуном всё с большей силой, и словно бы тают, растворяются в белизне этой огромной комнаты под открытым небом; наконец остается лишь это сухое постукивание да чувство нарастающего страха за спутницу. Выступившие на глазах слезы стынут, туманят взгляд, вобрав в себя размытую, мутноватую белизну противоположной стены... Эпизод заканчивается тем, что две ваши фигуры тают в белой пустоте, примерно так же, как в эпизоде предыдущем их поглотила тьма, когда возница, развернув фургончик, мелькнул напоследок желтыми фарами...

9

Тыходишь в переднюю, откуда берет начало парадная лестница, ведущая во второй этаж, с фигурной решеткой под перильцами черного дерева. На рифленом постаменте в начале лестницы тебя встречает бронзовая Галатея с круглым лампионом в руке, выполненном в виде факела. Ступени убраны мягким ковром. В простенках справа и слева по краям огромных фасадных арочной формы окон-витражей стоят зеркала, раздвигающие пространство; ты глядишь сквозь разноцветные стекла



наружу и видишь разноцветное море, плещущее о песчаный берег. Человек идет вдоль кромки воды навстречу женщине в темном платье с глухим воротом; носки и каблуки ее туфель утопают в мокром песке, оставляя прихотливый след.

– Что случилось? – спрашивает мужчина пришелицу, но та не отвечает, даже не глядит на него, словно его нет рядом.

Вместе идут они вдоль берега, женщина – чуть впереди, он – отстав на пару шагов; рядом дышит море, шелестя всплесками волн о прибрежный песок. Тусклый матовый свет подернутого облачной пеленой неба скрадывает черты лица женщины, придавая им какое-то сумеречное, матовое великолепие. Навстречу паре бежит светловолосый мальчик. Поравнявшись с гостьей, он показывает ей что-то, спрятанное у него в ладони. Каким-то образом ты умудряешься увидеть, что это золоченный наконечник стрелы. Женщина смеется, а мальчик вдруг зашвыривает наконечник в волны. Он вприпрыжку сопровождает женщину, что-то рассказывая и поминутно поднимая лицо, чтобы увидеть ее взгляд, удостовериться, что она внимательно, без обычной снисходительности старших, слушает его. У причала женщину ждет лодка, с темным силуэтом на веслах. Спутник помогает ей взойти в это легкое суденышко. Всплеск весел. Мужчина стоит рядом с мальчиком на бревнах причала, рассеянно ероша его золотые волосы, а тот машет вслед отплывающей лодке, пока она не превращается в точку и не исчезает из виду. Мужчина и мальчик молча идут в обратном направлении, к дому...

Глядя сквозь витражное стекло на их приближающиеся фигуры, ты улавливаешь какой-то новый гул, который, по мере того как ты вслушиваешься в него, становится голосом, сначала далеким и нечленораздельным, а в последний момент – высоким, ясным и отчетливым:

– Уж я не знаю, зачем им всё это понадобилось, но они, словно сговорившись, настаивают, что тебя необходимо разбудить. Ты слышишь меня, Август?

– Да, слышу... – Ты садишься на своем высоком ложе и смотришь на женщину с темными локонами.

Какие-то люди за ее спиной один за другим исчезают за дверью, подбадривая друг друга негромкими торжествующими репликами:

– Он проснулся! Проснулся! Наконец-то мы разбудили его!..

– Что ты говоришь? – женщина склоняется над твоим лицом.

– Я спрашиваю, где он.

– Кто?

– Наш мальчик.

– Не понимаю.

– Я спрашиваю: где наш сын?

– У нас есть сын? У нас с тобой? Это новость. Да проснись же, Август!..

Ты закрываешь глаза и вновь открываешь их. Не сразу до тебя доходит, где ты. Обшарпанная прихожая особняка, и ты, облаченный в плащ, с бутылкой в руке, лежишь на голом матрасе, покрывающем решетку солдатской койки. Приподнявшись на локте, смотришь в окно и видишь тихий осенний день, с ясным небом, с почти облетевшими старинными липами аллеи, уходящей вдаль, с землей, еще сырой и темной от выпавшего накануне и растаявшего снега. Глядя на нежное небо, окрашенное в цвет подернутой пеплом охры, механически отвинчиваешь пробку и прикладываешься к бутылке. Оставшегося в сосуде хватает, чтобы привести тебя в чувство. Но минутное тепло вдруг сменяется отчаянным ознобом: тебя колотит так, что зубы щелкают, издавая че-

четку. Кутаясь в плащ, ты вдруг обнаруживаешь, что никакой Галатеи с лампионом в руке, никаких ковров, витражей и зеркал нет и в помине; стены обшарпаны, лестница гола, а пол под ногами выложен кафельной плиткой – коричневые и темно-желтые мелкие квадраты в шахматном порядке. На некоторых из них и впрямь стоят выдавшие виды стеклянные шахматные фигуры, подсвеченные изнутри, меняющие цвет и попеременно перемещающиеся в том или ином направлении: пешка, слон, конь, ферзь, ладья...

С трудом сдерживая озноб и тошноту, ты поднимаешься на второй этаж и попадаешь в полумрак большой залы с овальным окном, совершенно пустой, если не считать нескольких выдавших виды кресел и допотопного шестнадцатимиллиметрового тарахтящего кинопроектора на высокой металлической тумбе. С противоположной стороны свисает застиранная, с прорехами тут и там, простыня, служащая чем-то вроде экрана. На ней мелькают пятна и кляксы, они сменяются теменью, в которой что-то шевелится, и если бы давеча ты не провел часть ночи на крыльце дома, то, вероятно, и не разобрал бы, что это ты сам сидишь на крыльце, время от времени прикладываясь к бутылке; лунный отблеск на мгновение освещает совершенно безумное, мертвенное лицо. И вот тыходишь в дом, поднимаешься по парадной лестнице. Навстречу идет человек с деревянной коробкой в руках, что-то гневно крича. У него походка существа, не очень в себе уверенного, но вдруг решившегося отважиться на поступок. Он открывает ящик, извлекает из него два пистолета, что-то кричит, яростно жестикулируя, затем всучивает тебе в руки один из них, а сам направляется в противоположный угол. Ты пытаешься понять, что за штука оказалась у тебя в руках, рассеянно поднимаешь

его и нажимаешь на курок. Выстрел поражает противника прежде, чем тот успевает повернуться, отрывая у него голову, которая катится по комнате как мяч, разбрызгивая кровь...

В ужасе ты обращаешься в бегство. Вдруг замечаешь в глубине одной из комнат притаившуюся фигуру в белом балахоне, которая, воровато озираясь, делает тебе какие-то знаки. Убедившись, что ты его заметил, белый балахон ретируется. Ты ускоряешь шаг, словно испугавшись, что персонаж, чьи манящие жесты можно истолковать как обещание освобождения из этого кровавого бреда, исчезнет; бежишь вслеп, распахивая одну за другой двери анфилады комнат, пока не оказываешься в зале с высокими, зашторенными алым шелком окнами, отчего кажется, будто в комнату бьет закатное солнце. Ты судорожно озираешься, но фигуры в балахоне не видно... какое-то движение возле древнего рояля, без верхней деки и с оборванными струнами... стремительной змеей летит веревка – и через мгновение ты бьешься в затянувшемся вокруг груди аркане, как муха в паутине. Белый балахон, совершая стремительные круги по зале, опутывает тебя, ты теряешь равновесие, но в последний момент балахон успевает подставить стул и остатками веревки приторочивает твоё тело к нему. В проеме двери появляется худенький мальчик с луком в руках; не произнося ни слова, он натягивает тетиву, прицеливается и спускает ее. Мгновенная вспышка, словно тут, в комнате, разорвалась шаровая молния. Ощущение нестерпимой боли в области сердца. Мальчик исчезает. Комнату наполняют нагие женские фигуры. Они освобождают тебя от веревок, на руках несут к фортепиано, кладут прямо на струны, обступают и начинают раздевать. Неизвестно каким образом в этом круге наготы оказывается долговя-

зый мужчина с монголоидными чертами лица. Он открывает старинный саквояж, извлекает из него какие-то диковинные инструменты, напоминающие хирургические, чем-то похожим на мачете рассекает тебе грудь, склоняется над тобой, извлекает из тела стрелу и с отвращением швыряет ее на пол. Несколько нагих тел кидаются к ней, отчаянно толкаясь, царапая друг другу лица, вырывая волосы. Шаман взмахивает хлыстом, вдруг оказавшимся у него в руке; гейши, как по команде, мгновенно выстраиваются вокруг тела. Начинается разделка трупа: каждую новую отсеченную часть узкоглазый хирург швыряет той или иной гейше, которая тут же поедает свой кусок – то с алчным сладострастием на лице, то смакуя с видом гастронома, то с безразличной холопской жадностью...

Изображение на экране деформируется, как если бы начала плавиться пленка в проекторе, но через секунду ты понимаешь, что это не пленка: простыня вспыхивает. Плащ на тебе воспламеняется. Ты пытаешься освободиться от него, что удастся отнюдь не сразу, мечешься по комнатам, задыхаясь от дыма; слышишь, как лопаются на тебе кожа, опаленная жаром; каким-то чудом оказываешься у окна и летишь, вместе со стеклянным дождем осколков, на землю. В безумстве боли ты бежишь по аллее, оставляя за собой пылающий особняк. Зарезо за спиной настолько ярко, что ты видишь его отсветы на стволах и ветвях лип, на подгнившей листве под ногами, на полосе неба. Кажется, эта аллея никогда не кончится. Ты бежишь все стремительней, вместе с пластами обгоревшей одежды и вздувшейся кожи срываешь с себя годы и десятилетия...

Облаченный в вытертые вельветовые брюки и белую рубашку, пятнадцатилетний юноша неспешно бредет меж подсвеченных предзакатным солнцем прибрежных сосновых стволов. Он одинок и счастлив, в кого-то

влюблен, как бывает в этом возрасте, но еще и представить себе не может, какая встреча ожидает его в будущем. Образ женщины с темным взором и высоким голосом едва ли угадывается в далекой лодке, плывущей по реке времени. Он носит то же имя, что и ты, Август, но он не знает тебя, воспринимая этот вечер, реку, сосны и закатное солнце как единственную реальность, в которой тебе есть место постольку, поскольку вся она – твоя...

---

## **Содержание**

Опыт Каллиграфии .....	3
Башня .....	69
Пепел Августа .....	103

## **Благодарности**

Автор благодарит:

Шалву Мегрелишвили и Лидию Толстову за поддержку в издании книги;

художницу Ольгу Гаврилову, предоставившую рисунок для обложки;

Анастасию Мешкову, содействовавшую факту публикации.



*Литературно-художественное издание*

Эдуард Освальдович Кранк

ТРИ ПРОЗЫ

Чебоксары, 2020 г.

Компьютерная верстка и правка *А. А. Кузьмина*

Художник *О. Д. Гаерилова*

Подписано в печать 02.07.2020 г.

Дата выхода издания в свет 08.07.2020 г.

Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 8,37. Заказ К-688. Тираж 500 экз.

Издательский дом «Среда»

428005, Чебоксары, Гражданская, 75, офис 12

+7 (8352) 655-731

[info@phsreda.com](mailto:info@phsreda.com)

<https://phsreda.com>

Отпечатано в Студии печати «Максимум»

428005, Чебоксары, Гражданская, 75

+7 (8352) 655-047

[info@maksimum21.ru](mailto:info@maksimum21.ru)

[www.maksimum21.ru](http://www.maksimum21.ru)